

Джон Китс

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ



ВОРЕНИЯ Цжон Китс





Джон Китс

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Перевод с английского



Москва «Художественная литература» 1989

Поэтическая библиотека



JOHN KEATS POEMS

Составление, вступительная статья, комментарии

И. Шайтанова

Художник И. Шипулин

K 4703010200-324 028(01)-89 128-89 ISBN 5-280-00654-8 © Составление, вступ. статья, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

джон китс

(1795 - 1821)

Китс умер молодым: ему не исполнилось и двадцати шести лет. Это рано, очень рано даже не по статистике средней продолжительности жизни, но по тому трагическому счету, что существует для поэтов и особенно романтиков, среди которых не многие дожили до седин.

При этом Китс и начал сравнительно поздно: первые известные нам стихи написаны, когда ему было восемнадцать. Писал ли он раньше — в Эдмонтоне, где его с братьями после ранней смерти родителей воспитывает бабушка, в Энфилде, где он пошел в школу? Трудно сказать, но художественную одаренность в сыне разбогатевшего владельца конюшни мало кто угадывал в школьные годы.

Весь творческий путь длиной в пять-шесть лет. Стремительное восхождение! И видимо, способность без ученической поры явиться сразу же талантом зрелым, самостоятельным? Предположение не оправдывается: Китс многому и у многих учился. Слово «подражание» традиционно сопровождает разговор о его поэзии. Среди имен тех, кому подражал, чье влияние пережил, — и классики и современники, порой малозначительные, кто сегодня и вспоминается исключительно потому, что в какой-то момент оказался рядом с Китсом.

В названиях многих стихотворений — повод для вдохновения: по прочтении Чосера, Шекспира, Гомера... В других случаях комментарий легко восстанавливает то, о чем умалчивают названия.

«Зрелый Китс» — этот эпитет обычно относится к очень узкому кругу произведений, большинство из которых были

созданы на протяжении нескольких месяцев 1819 года преимущественно в жанре сонета и оды. Это лучшее, давно признанное классикой; с этого — пусть и в нарушение хронологического порядка — открывается настоящий сборник.

Сегодня поэтическая репутация Китса чрезвычайно высока у него на родине. Пожалуй, она не уступает даже славе традиционно почитаемого великим лириком Вордсворта. Так было далеко не всегда. При жизни Китс окружен группой друзей, верных ценителей его дарования, но круг этот невелик. За дружественную критику Китсу приходилось дорого расплачиваться, ибо то, что многим казалось преувеличенными похвалами, уравновешивалось разносными рецензиями с беспощадным к таланту приговором. Существует даже легенда, будто не туберкулез свел поэта в раннюю могилу:

Кто убил Джона Китса?
— Я, — ответил свирепый журнал, Выходящий однажды в квартал, — Я могу поручиться, Что убили мы Китса...

(Перев. С. Маршака)

Байрон в эпиграмме повторяет то, о чем ему горячо писал Шелли, убежденный, что смерть Китса — на совести критиков. Байрон по этому поводу не упустил случая еще раз посчитаться с английскими журналами, но все же недоумевал — неужели отзыв рецензента, пусть несправедливый и жестокий, может оказаться смертельным? Он может привести в бешенство, заставить ответить ударом на удар — это в характере Байрона. У Китса был иной характер и иной склад таланта. Настолько иной, что Байрон не ценил его совершенно, в переписке с друзьями не стеснял себя в выражениях и, лишь узнав о смерти Китса, дал указание своему издателю не допускать этих отзывов в печать.

Отношение Китса к тому, кто тогда царил на английском романтическом Парнасе, было более благожелательным, по

крайней мере вначале. А если судить по раннему сонету, к Байрону обращенному, то в какой-то момент даже восторженным. Однако имя Байрона не слишком бросается в глаза, ибо является в окружении стихов, посвященных или обращенных к другим поэтам. Среди них есть имена, обладавшие для Китса куда более устойчивой притягательностью. Прежде всего имя Спенсера.

Давно и прочно считающийся классиком, поэт XVI века Эдмунд Спенсер в романтическую эпоху особенно популярен. Свое подражание ему (первое известное нам стихотворение) Китс пишет знаменитой Спенсеровой строфой которой незадолго до него воспользовался Роберт Бёрнс («Субботний вечер поселянина») и — с таким громадным успехом — Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда».

Строфическая форма с течением времени стала вместилищем всех ассоциаций, связанных с именем ее создателя, который более всего запомнился как мастер поэтической стилизации: куртуазно-рыцарской в аллегорической поэме «Королева фей» и архаизирующе-просторечной в пасторальном «Календаре пастуха». Китс тоже любит отраженный свет в слове. Видимый или воображаемый предмет всегда будит в нем поэтические воспоминания, окутывается в них. Природа и Поэзия для него — равновеликие реальности, и он не умеет писать о первой, забывая о том, как она уже отражена во второй.

Английский читатель Китса ощущает эту его склонность иначе, чем читатель переводов: в оригинале зависимость очевиднее, конкретнее, как очевиднее и тот факт, что Китс, в отличие от робкого подражателя, не боится быть пойманным на заимствованиях. Он заимствует открыто, ибо чувствует в себе силу рядом с чужим поставить свое слово, отзывающе-

¹ Строфа, состоящая из девяти строк, восемь первых из которых — пятистопный, а последняя — шестистопный ямб при следующем порядке рифмовки: абаббсбсс.

еся, вступающее в перекличку. В «Подражании Спенсеру», естественно, повторяются его стилистические приемы, «спенсеризмы», с которыми что поделать переводчику? Разве что передать их неким условным, ничьим персонально, налетом языковой архаики.

Подражательность ощущается, но изящество уходит; изящество сознательной и мастерской стилизации, стремящейся воспроизвести колорит средневековой иллюминированной миниатюры.

Поэтически, — в слове, в образе, — Китс всегда зависим. Это его мышление, его видение, все время улавливающие блики поэтических ассоциаций. Китс, как немногие, глубоко погружен в традицию, в материю поэтического слова. От этого он так трудно переводим.

В России его долго и не переводили. Сейчас более всего изучают — почему не переводили. Заслонил ли его Байрон? Мог заслонить, учитывая его популярность, но ведь не все потерялись в его тени? Поэт близкого Китсу лондонского круга Барри Корнуолл был замечен Пушкиным, в чьей библиотеке имелся том, включавший и стихотворения Китса, им, однако, не замеченного, не упомянутого.

Предполагают, что в России Китс должен был показаться чрезмерным эстетом, поэтом «чистого искусства». Мог, ибо, когда его начали узнавать, такое суждение держалось довольно долго, в литературной науке вплоть до появления книги А. А. Елистратовой «Наследие английского романтизма и современность» (1960). Там впервые было сказано о том, что представление о Китсе, замкнувшемся в мире прекрасного, неверно, что оно легко опровергается и даже не столько отдельными вольнолюбивыми стихами, высказываниями поэта, но всем строем его поэзии, его пониманием того, что есть Красота.

Главное для Китса — эстетическая идея; обдумывая ее, он отвечает на вопрос — как писать и для чего стоит быть поэтом.

Китсу не свойственна торжественная маска жреца или пророка. У него немало стихов на случай, когда он просто — почти по привычке — зарифмовывает впечатления, в чем шутливо и винится адресатам тех писем, в которые включает свои стихотворные безделки. Чувство вины не от того, что поэзия коснулась чего-то для себя запретного, неподобающего. Запретного для нее не существует, но ее прикосновение не должно терять своей волшебной силы — преображать мир словом.

Поэт-романтик часто мыслит себя творцом, подобно богу, созидающим свой мир, ибо старый его не устраивает. У Китса слишком сильна любовь к творенью, чтобы он посягал на него. Он и не посягает, этим отличаясь от многих своих современников. Ни в поэтическом образе Китса, ни в его личности нет романтического максимализма.

Китс восприимчив, внимателен, он всегда готов выслушать. Не отсюда ли столь длинный список «оказавших на него влияние»? Часто его советчики — люди, отнюдь не прославленные: сын его школьного учителя Кларк или его коллега по медицинским занятиям в Лондоне Мэтью... В пространных стихотворных посланиях к ним — первые размышления Китса о творчестве.

И так же легко, как он выслушивал советы, он их отвергал, ни в чьем присутствии не теряя творческой независимости. Китс как будто давал повод к тому, чтобы в отношениях с ним играть роль мэтра; на эту роль довольно многие претендовали, но никто в ней не удерживался. Это было невозможно, в чем убедился и тот, кто на нее более всего претендовал, — Ли Хант. Либеральный журналист, поэт, критик, он по своему темпераменту склонен был учительствовать, объединять; он и считался главой школы лондонских романтиков, презрительно прозванной противниками «кокни» (по названию лон-

¹ Подробнее о круге знакомых Китса, как и вообще о фактах его биографии, см. в коммент.

донского разговорного диалекта). В эту школу вовлечен Китс и, поднимаемый ею на щит, вынужден отвечать перед критиками за нее в целом.

Сначала вольномыслие Ли Ханта привлекло к нему Китса. Затем — сходство вкусов: Хант тоже ценит в поэзии богатство памяти, колористическое воссоздание прошлого, о котором, впрочем, повествует языком легким, разговорным, сегодняшним. Так что прозвище «кокни» оправдывалось: классические сюжеты (например из Данте) Хант рассказывает на новый лад.

Эти уроки были полезными для Китса. Понять право на свой язык особенно важно, когда ты любишь откликаться на чужие. Но по мере того как в нем росло чувство свободы, Китс освобождался и от воздействия Ли Ханта, скоро уже сожалея, что слывет его учеником; в 1818 году в связи с публикацией поэмы «Эндимион» произошло охлаждение, которое Китс объяснял тем, «что я не слишком-то навязываюсь»...

Китс привлекал к себе людей и был счастлив в дружбе. Общаясь, он восполнял пробелы своего литературного образования; познакомившись в Лондоне с блестящим критиком, эссеистом У. Хэзлиттом, он посещает его лекции о поэзии. Хэзлитт — знаток Шекспира, который именно теперь открывается Китсу.

В этом пристрастии Китс не одинок. В глазах романтиков никто не выступает так часто в роли идеального поэта, как Шекспир, но идеал толкуется по-разному. Китс ценит его за полноту отзывчивости, за умение все познать, во все проникнуть, все вместить в себя и одновременно — отречься от своего «я». Он называет это «негативной способностько»:

«Поэт — самое непоэтическое существо на свете, ибо у него нет своего «я»: он постоянно заполняет собой самые разные оболочки. Солнце, луна, море, мужчины и женщины, повинующиеся порывам души, поэтичны и обладают неизмен-

ными свойствами — у поэта нет никаких, нет своего «я» — и он, без сомнения, самое непоэтичное творение Господа»¹.

У Китса обычное для романтика желание свободы оборачивается требованием свободы не для себя, а от себя. Естественно, что многие современники должны были казаться ему излишне поглощенными своим «я», на нем сосредоточенными, и даже наиболее из них ценимого — Вордсворта — он находит «величественно-эгоистическим» (ЛП, с. 242).

С готовностью подчиняя себя высшей цели — поэзии, Китс гораздо более сдержан и осторожен, когда речь заходит о подчинении самой поэзии каким бы то ни было целям. Он не разделяет энтузиазма, с которым Шелли провозглашает поэзию общественно значимой — через приобщение людей к красоте. Для Китса (совсем по-пушкински) цель поэзии — поэзия. Но разве это не тезис чистого искусства?

Говоря об одном из своих приятелей, Китс заметил, что тот никогда не достигнет истины, потому что всю жизнь ее ищет. Находить то, о чем как будто бы не помнишь, достигать целей, к которым как будто бы не стремишься, желая лишь одного — исполнить свое дело, дело поэта. Открыть красоту, пережить ее и дать пережить другим, а что дальше, к чему это поведет, будет ли польза... О прямой полезности поэзии Китс не думал, но лишь о том, чтобы создать истинную поэзию: может ли быть полезным то, чего нет? А все подлинное не может быть бесполезным:

В прекрасном — правда, в правде — красота, Вот все, что знать вам на земле дано. («Ода греческой вазе». Перев. Г. Кружкова)

Одно входит в другое и не существует иначе, чем в этом взаимопроникновении. Перефразируя философа, можно ска-

¹ Китс Джон. Стихотворения. Серия «Литературные памятники». Л., Наука, 1986, с. 242—243. В дальнейшем при ссылке на это издание указываются аббревиатура — ЛП — и страницы.

зать, что для Китса действительно лишь то, что прекрасно; существование всего, лишенного красоты — случайно, преходяще.

У Китса удивительно пластическое чувство слова. Он ощущает образ как пространство, которое предстоит замкнуть совершенной формой... И в то же время замкнутое — оно беспредельно. Море остается морем, когда его волны быют в отточенные грани сонетной формы:

Шепча про вечность, спит оно у шхер,
 И вдруг, расколыхавшись, входит в гроты,
 И топит их без жалости и счета,
 И что-то шепчет, выйдя из пещер.

(«Море». Перев. Б. Пастернака)

Китс должен был прийти к сонету. К жанру, который был в ту пору заново открываем английской поэзией. Всего лишь в 1811 году Вордсворт написал сонет о сонете: «Не презирай сонета, критик...» (строка, в качестве эпиграфа повторенная Пушкиным). Но и критик и нередко поэт относились к жанру с презрением, как к безделице. «До сих пор я написал всего один сонет, — признается в дневнике 1813 года Байрон, — и то не всерьез, в виде упражнения — и больше не напишу. Это — самые плоские, писклявые, идиотски платонические писания». Приблизительно то же самое он говорил и о поэзии Китса в целом.

Китс, безусловно, не заслужил такой оценки. У Байрона она продиктована предубеждением (см. примеч. к стихотворению «Сон и поэзия»), нежеланием вчитаться в формы, в язык, иные, чем его собственные. А ложную аффектацию Китс и сам не выносил в любом жанре, включая сонет: высокопарное перечисление красот Вордсвортом побуждает его к пародийному отклику — «Обитель Скорби» (автор мистер Скотт)...»

В своих лучших сонетах Китс прост не только по языку — по тону, он естествен, ибо для него прекрасное повсю-

ду: и в летнем стрекоте кузнечика, и в запечной песне сверчка, и в мгновенной потрясенности человека, переживающего минутность своего бытия на берегу океана вечности. Его волны подхватывают, уносят — брошен последний взгляд на то, что некогда было жизнью с ее мечтой о любви, о славе... («Когда страшусь, что смерть прервет мой труд...»)

Мечты уходят с человеком, прекрасное же остается. Красота нетленна и потому спасительна для причастившегося ей. Такую эстетическую веру исповедует Китс.

В его сонеты вы входите легко — вслед за фразой раздумья или даже разговора, долетевшей до слуха. Войдя, тут же оказываетесь во власти ритма, во власти формы, в которых чувствуете замысел, волю и узнаете в вашем собеседнике Поэта.

Китс рано, буквально с первых шагов нашел свой жанр — сонет. Но только этим жанром он не мог удовлетвориться. Овладев искусством вмещать безмерность пространства в строгую ограниченность малой формы, он столь же рано ощутил и иную потребность — дав волю воображению, живописать мир, только графической моделью которого мог быть сонет. Живопись требовала другой формы — поэмы.

Кажется, в отношении никакого другого жанра Китс не бывал так настойчив, упорен и в то же время так часто недоволен собой. Не успев дописать очередную поэму (или даже бросая ее на полпути), он уже чувствовал — не то. Стиль не найден, приемы повествования наивны, в лучшем случае удаются отдельные строки. Ранние наброски так и остались набросками, вступлением в поэму.

Потом возникает замысел «Эндимиона». Ли Хант отговаривает от большой поэмы, но Китс упорствует: «На это я должен ответить: разве поклонникам поэзии не более по душе некий уголок, где они могут бродить и выбирать местечки себе по вкусу...» (ЛП, с. 206.) «Эндимион» опубликован в апреле 1818 года, а к этому времени уже завершена новая поэма — «Изабелла, или Горшок с базиликом».

От мифологической аллегории, изображающей путь восхождения к прекрасному, Китс переходит к сюжету историческому, заимствованному у Боккаччо. Рассказ о трагической любви Изабеллы — это возможность проверить себя в повествовательном сюжете, требующем прорисовки характеров, колорита, энергичного стиля. Результатом Китс совершенно разочарован: изображение страсти требует опыта, а его, признается автор, нет. Нет знания жизни.

В целях воспитания чувств Китс отправляется в путешествие — к природе. Летом 1818 года он совершает паломничество по романтическим местам: Озерный край, Шотландия, Ирландия... Горный пейзаж этих мест будит воображение, отвечает новому эстетическому идеалу — Живописного и Возвышенного. Путешествие, однако, было прервано известием о тяжелой болезни брата.

Пусть и совсем не так, как предполагалось, но этот год стал временем воспитания чувств. Свидание с природой сменилось месяцами, проведенными у постели умирающего Тома. И в эти же месяцы — встреча с будущей невестой, с Фанни Брон.

Китс работает: много, напряженно, несмотря ни на что. Снова поэма и снова на мифологический сюжет — «Гиперион». В предшествовавшем «Эндимионе» — миф любви и красоты, теперь — миф борьбы: Аполлон приходит занять место последнего из титанов — Гипериона, являющего фигуру мрачную и трагическую. Прекрасное рождается из духа трагедии.

Работа над поэмой уже далеко продвинулась, но к началу следующего года, после смерти брата, Китс оставляет ее. Потом он еще раз возвратится к этому сюжету: второй вариант называется «Падение Гипериона», и он останется незавершенным. В этой новой попытке возникает важный сюжетный ход, подсказывающий, в каком направлении идет поиск. Теперь мифологические события излагаются не с безличной эпической объективностью; появляется рассказчик — Мо-

нета, дочь богини Мнемозины, и слушатель — человек, для которого все услышанное звучит вещим сном. Так обозначено намерение сдвинуть акцент с изложения событий на их восприятие, представить пространство мифа возникающим в воображении.

«Он описывает то, что видит; я описываю то, что воображаю». Он — это Байрон, между которым и собою устанавливает различие Китс. Ценя опыт, знание жизни, Китс не считает достаточным для поэта полагаться только на то, что увидено и осмыслено. Избыток описательности, как и избыток рассудочности, губителен для поэзии. Об этом, вступая в прямой спор с поэтическими принципами предшествующего столетия, Китс прямо говорит в «Ламии»:

От прикосновенья Холодной философии — виденья Волшебные не распадутся ль в прах? Дивились радуте на небесах Когда-то все, а ныне — что нам в ней, Разложенной на тысячу частей? Подрезал разум ангела крыла, Над тайнами линейка верх взяла...

Радуга нередко вспыхивала в поэзии XVIII века как символ вновь увиденной красоты природы; Ньютон понял законы разложения светового луча, он научил людей верному зрению, и вслед ему пошел поэт. Китс считает, что поэт пошел ложным путем. Его строки о радуге прозвучали в поэме, написанной в трудном сомнении, что же предпочесть: прекрасный, но, быть может, губительный призрак или самоуверенный разум, разрушающий иллюзию, а вместе с нею отнимающий жизнь?

В сюжете «Ламии» замысел Китса более всего сказался в тех изменениях, которые были внесены поэтом. В нарушение легенды в его поэме действуют не злая волшебница-оборотень (см. примеч. к поэме) и мудрый философ, а жестокий моралист и существо таинственно-прекрасное... Влекущее к

гибели через обещание неземного блаженства? Быть может, и так. Считают, что в «Ламии», как и в балладе «La Belle Dame sans Merci», отразилось переживание Китсом своей любви — к Фанни Брон.

Несмотря ни на что, Китс предпочитает оставаться на опасной грани двух миров, ибо только отсюда и возможен взгляд, проникающий в прекрасное. Зыбкая грань — между сном и явью, между днем и ночью, бытием и небытием... Здесь опыт жизни встречается с воображением; здесь место действия сумеречных по колориту поздних поэм: «Канун Святой Агнессы», «Канун Святого Марка». Обе — поэмы вещего видения, предугадывания. В обеих сквозь дрему, темноту ночи в небывалой живописной яркости проступает реальность, расцвеченная воображением.

Эти поэмы одновременны и родственны великим одам 1819 года.

Шесть од. Между ними заметили ту тесноту связи, которая позволяет говорить о них как о цикле. В них как бы одна мысль, играющая противоречиями, обращенная к нам то одной, то другой стороной. Их предмет: праздность и меланхолия, греческая ваза и Психея, соловей и осень. Что общего? Традиционные темы поэзии или поэтические состояния, сопутствующие творчеству.

О чем эти оды? О том, что лучше всего обозначить китсовской строкой-вопросом: «Где же он и с кем — поэт?»

Это оды о смысле и о достоинстве прекрасного, рукотворного и существующего в природе. Это оды о состоянии и о способности, позволяющей приблизиться к Красоте, а значит, и о том, кому в высшей степени даровано это приближение, — о поэте. О человеке, обладающем двойным зрением: видеть и воображать.

Когда в «Оде Соловью» нисходит ночь и отступает в темноту внешний мир, когда более «нет света...», то хочется продолжить вслед одному из великих учителей Китса (чье присутствие столь ощутимо в этой оде) — вслед Мильтону: «No

light but rather darkness visible» («Нет света, но лишь зримая тьма»).

Меркнет земное, отступает чувственное. Теперь лишь фантазия ведет поэта: все выше, дальше за поющей птицей... Улетать, чтобы — возвращаться. Сам Китс уподоблял воображение сну библейского праотца Адама, когда тому привиделось сотворение Евы: «...он пробудился и увидел, что все это — правда» (ЛП, с. 207).

Когда-то, в ранних вещах, Китс начинал с аллегорических обобщений: «Покинул день восточный свой дворец...» Затем уже на общий план накладывались зрительные подробности.

В поздних стихах он чаще начинает с предметных деталей, напрягает зрение — до темноты в глазах, пока не прольется внутренний свет и сама сущность вещей не обретет форму. Некогда следовавший чужому воображению, он искал себя в мифе; теперь он сам творит миф. Сквозь первоначально беглые, чувственные впечатления проступает контур — отвлеченное, мыслимое является зримым образом. Одна фигура, другая, застывшие в значительной позе, в символическом жесте... Как будто неподвижные, даже неясные в очертаниях, но если всмотреться в них, как некогда умел всмотреться Китс в рисунок на греческой вазе, если внимательно проследить мысленным взором, то мы и не заметим, как родится движение, как в застывшем контуре очнется жизнь.

Прозрение правды сквозь реальность. Но это не значит — не замечая реальности: видеть, чтобы воображать, и воображать, чтобы понять смысл увиденного. Одно невозможно без другого. Лишь тому, кто способен заметить «яблоками отягченный ствол», вспученную тыкву, напыженные шейки лесных орехов, лишь ему, чей взор не погнушался малым, предстанет то, что незримо, — сама Осень, вступающая в мир: «Кто не видал тебя в воротах риг?..»

Обращение «К Осени» хронологически завершает цикл од, написанных весной; эта последняя ода, как ей и подобает,

создана в сентябре все того же 1819 года. После нее Китс почти не пишет лирических стихотворений. Он очень болен. А год спустя становится ясно, что еще одну зиму в Англии он просто не переживет. Путешествие в Италию, давно желанное, теперь, увы, становится вынужденным и последним.

Утром 23 февраля 1821 года в Риме умирает молодой англичанин — Джон Китс. Он сам позаботился о своей эпитафии:

«Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». О чем хотел сказать поэт? О мимолетности бытия, которую он лишь и успел узнать в своей краткой жизни? Или в последний раз напомнить о том, что и в мимолетном сквозит вечность — вечность Прекрасного?

И. Шайтанов



из поэмы «эндимион»

Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда Не впасть ему в ничтожество. Все снова Нас будет влечь к испытанному крову С готовым ложем и здоровым сном. И мы затем иветы в гирлянды вьем, Чтоб привязаться больше к чернозему Наперекор томленью и надлому Высоких душ, унынью вопреки И дикости, загнавшей в тупики Исканья наши. Да, назло пороку, Луч красоты в одно мгновенье ока Сгоняет с сердиа тучи. Таковы Луна и солнце, шелесты листвы, Гурты овечьи, таковы нарциссы В густой траве, где под прикрытьем мыса Ручьи защиты ищут от жары, И точно так рассыпаны дары Лесной гвоздики на лесной поляне. И таковы великие преданья О славных мертвых первых дней земли, Что мы детьми слыхали иль прочли.

ПОСЛЕДНИЕ СОНЕТЫ И ОДЫ (1819)





Чему смеялся я сейчас во сне?

Ни знаменьем небес, ни адской речью
Никто в тиши не отозвался мне...

Тогда спросил я сердце человечье:
Ты, бьющееся, мой вопрос услышь, —
Чему смеялся я? В ответ — ни звука.
Тьма, тьма кругом. И бесконечна мука.

Молчат и бог и ад. И ты молчишь.
Чему смеялся я? Познал ли ночью
Своей короткой жизни благодать?
Но я давно готов ее отдать.

Пусть яркий флаг изорван будет в клочья.
Сильны любовь и слава смертных дней,
И красота сильна. Но смерть сильней.



8 (?) марта 1819



СОН. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ОТРЫВКА ИЗ ДАНТЕ О ПАОЛО И ФРАНЧЕСКЕ

Как устремился к высям окрыленно
Гермес, едва был Аргус усыплен,
Так, волшебством свирели вдохновленный,
Мой дух сковал, сломил и взял в полон
Стоокое чудовище вселенной —
И ринулся не к холоду небес,
Не к Иде целомудренно-надменной,
Не к Темпе, где печалился Зевес, —
Нет, но туда, к второму кругу ада,
Где горестных любовников томит
Жестокий дождь, и бъет лавина града,
И увлекает вихрь. О скорбный вид
Бескровных милых губ, о лик прекрасный:
Со мною он везде в круженье тьмы злосчастной!

к сну

16 (?) апреля 1819

О ты, хранитель тишины ночной, Не пальцев ли твоих прикосновенье Дает глазам, укрытым темнотой, Успокоенье боли и забвенье? О Сон, не дли молитвенный обряд,
Закрой глаза мои или во мраке
Дождись, когда дремоту расточат
Рассыпанные в изголовье маки,
Тогда спаси меня, иль отсвет дня
Все заблужденья явит, все сомненья;
Спаси меня от Совести, тишком
Скребущейся, как крот в норе горбатой,
Неслышно щелкни смазанным замком

И ларь души умолкшей запечатай.

(Апрель) 1819



COHET O COHETE

Уж если суждено словам брести
В оковах тесных — в рифмах наших дней,
И должен век свой коротать в плену
Сонет певучий, — как бы нам сплести
Сандалии потоньше, понежней
Поэзии — для ног ее босых?
Проверим лиру, каждую струну,
Подумаем, что можем мы спасти
Прилежным слухом, зоркостью очей.
Как царь Мидас ревниво в старину
Хранил свой клад, беречь мы будем стих.
Прочь мертвый лист из лавровых венков!
Пока в неволе музы, мы для них
Гирлянды роз сплетем взамен оков.

Не позднее 30 апреля 1819

СЛАВА. І

Дикарка-слава избегает тех,

Кто следует за ней толпой послушной.

Имеет мальчик у нее успех

Или повеса, к славе равнодушный.

Гордячка к тем влюбленным холодней,

Кто без нее счастливым быть не хочет.

Ей кажется: кто говорит о ней

Иль ждет ее, — тот честь ее порочит!

Она — цыганка. Нильская волна

Ее лица видала отраженье.

Поэт влюбленный! Заплати сполна

Презреньем за ее пренебреженье.

Ты с ней простись учтиво — и рабой

Она пойдет, быть может, за тобой!

30 апреля 1819



СЛАВА. ІІ

Нельзя и пудинг съесть, и думать, что он есть.

Пословица

Как жалок ты, живущий в укоризне,
В тревожном недоверье к смертным дням:
Тебя пугают все страницы жизни,
И славы ты себя лишаешь сам;

Как если б роза розы растеряла
И слива стерла матовый налет
Или Наяда карлицею стала
И низким мраком затемнила грот;
Но розы на кусте благоухают,
Для благородных пчел даря нектар,
И слива свой налет не отряхает,
И своды грота ловят свое эхо, —
Зачем же, клянча по миру успеха,
В неверии ты сам крадешь свой дар?

30 апреля 1819



ОДА ПСИХЕЕ

К незвучным этим снизойдя стихам,
Прости, богиня, если я не скрою
И ветру ненадежному предам
Воспоминанье, сердцу дорогое.
Ужель я грезил? или наяву
Узнал я взор Психеи пробужденной?
Без цели я бродил в глуши зеленой,
Как вдруг, застыв, увидел сквозь листву
Два существа прекрасных: за сплетенной
Завесой стеблей, трав и лепестков
Они лежали вместе, и бессонный
Родник на сто ладов
Баюкал их певучими струями.

В семье бессмертных младшая она,
Но чудотворней, чем сама Природа,
Прекраснее, чем Солнце и Луна,
И Веспер, жук лучистый небосвода;
Прекрасней всех — хоть храма нет у ней,
Ни алтаря с цветами;
Ни гимнов, под навесами ветвей
Звучащих вечерами;
Ни флейты, ни кифары, ни дымков
От смол благоуханных;
Ни рощи, ни святыни, ни жрецов,
От заклинаний пьяных.

О Светлая! давно умолкли оды
Античные — и звуки пылких лир,
Что, как святыню, воспевали мир:
И воздух, и огонь, и твердь, и воды.
Но и теперь, хоть это все ушло,
Вдали восторгов, ныне заповедных,
Я вижу, как меж олимпийцев бледных
Искрится это легкое крыло.

Так разреши мне быть твоим жрецом, От заклинаний пьяным: Кифарой, флейтой, вьющимся дымком — Дымком благоуханным; Святилищем, и рощей, и певцом, И вещим истуканом. Да, я пророком сделаюсь твоим И возведу уединенный храм В лесу своей души, чтоб мысли-сосны, Со сладкой болью прорастая там, Тянулись ввысь, густы и мироносны. С уступа на уступ, за стволом ствол, Скалистые они покроют гряды, И там, под говор птиц, ручьев и пчел, Уснут в траве пугливые дриады. И в этом средоточье, в тишине Невиданными, дивными цветами, Гирляндами и светлыми звездами, Всем, что едва ли виделось во сне Фантазии — шальному садоводу, Я храм украшу; и тебе в угоду Всех радостей оставлю там ключи, Чтоб никогда ты не глядела хмуро, —

Апрель 1819

И яркий факел, и окно в ночи,

Раскрытое для мальчика Амура!

ОДА ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗЕ



I

О строгая невеста тишины,
Дитя в безвестье канувших времен,
Молчунья, на которой старины
Красноречивый след запечатлен!
О чем по кругу ты ведешь рассказ?
То смертных силуэты иль богов?
Темпейский дол или Аркадский луг?
Откуда этот яростный экстаз?
Что за погоня, девственный испуг?
Флейт и тимпанов отдаленный зов?

П

Пускай напевы слышные нежны, Неслышные, они еще нежней; Так не смолкайте, флейты! вы вольны Владеть душой послушливой моей. И песню — ни прервать, ни приглушить; Под сводом охраняющей листвы Ты, юность, будешь вечно молода; Любовник смелый! никогда, увы, Желания тебе не утолить, До губ не дотянуться никогда!

III

О вечно свежих листьев переплет,
Весны непреходящей торжество!
Счастливый музыкант не устает,
Не старятся мелодии его.
Трикрат, трикрат счастливая любовь!
Не задохнуться ей и не упасть,
Едва оттрепетавшей на лету!
Низка пред ней живая наша страсть,
Что оставляет воспаленной кровь,
Жар в голове и в сердце пустоту.

IV

Кто этот жрец, чей величавый вид
Внушает всем благоговейный страх?
К какому алтарю толпа спешит,
Ведя телицу в лентах и цветах?
Зачем с утра благочестивый люд
Покинул этот мирный городок, —
Уже не сможет камень рассказать.
Пустынных улиц там покой глубок,
Века прошли, века еще пройдут,
Но никому не воротиться вспять.

v

Высокий мир! Высокая печалы!

Навек смиренный мрамором порыв!

Холодная, как вечность, пасторалы!

Когда и мы, дар жизни расточив,

Уйдем, и нашу скорбь и маету
Иная сменит скорбь и маета,
Тогда, смыкая со звеном звено,
Им, будущим, скажи начистоту:
«В прекрасном — правда, в правде — красота,
Вот все, что знать вам на земле дано».

Maŭ 1819



ОДА СОЛОВЬЮ

I

И в сердце — боль, и в голове — туман, Оцепененье чувств или испуг, Как будто сонный выпил я дурман И в волнах Леты захлебнулся вдруг. Но нет, не зависть низкая во мне — Я слишком счастлив счастием твоим, Вечерних рощ таинственный Орфей! В певучей глубине Ветвей сплетенных и густых теней Ты славишь лето горлом золотым!

II

Глоток вина — и улечу с тобой!

Прохладного вина, в котором вкус
Веселья, солнца, зелени живой —

И пылкость юных Провансальских муз!
О кубок в ожерелье пузырьков,
Мерцающий, как южный небосвод!
О Иппокрены огненной струя,
Что обжигает рот!
Один глоток — и мир оставлю я,
Исчезну в темноте между стволов.

Ш

Исчезну, растворюсь в лесной глуши
И позабуду в благодатной мгле
Усталость, скорбь, напрасный жар души —
Все, что томит живущих на земле,
Где пожинает смерть посев людской
И даже юным не дает пощады,
Где думать значит взоры отравлять
Свинцовою тоской,
Где красоте — всего лишь миг сиять,
Любви, родившись, гибнуть без отрады.

IV

Прочь, прочь отсюда! Я умчусь с тобой — Не колесницей Вакховой влеком — Но на крылах Поэзии самой, С рассудочностью жалкой незнаком! Уже мы вместе, рядом! Ночь нежна,
Покорно все владычице Луне,
И звезд лучистые глаза светлы,
И веет вышина
Прохладным блеском, тающим на дне
Тропинок мшистых и зеленой мглы.

v

Не вижу я, какие льнут цветы
К моим ногам и по лицу скользят,
Но среди волн душистой темноты
Угадываю каждый аромат —
Боярышника, яблони лесной,
Шуршащих папоротников, орляка,
Фиалок, отдохнувших от жары, —
И медлящей пока
Инфанты майской, розы молодой,
Жужжащей кельи летней мошкары.

VI

Вот здесь впотьмах о смерти я мечтал, С ней, безмятежной, я хотел уснуть, И звал, и нежные слова шептал, Ночным ознобом наполняя грудь. Ужели не блаженство — умереть, Без муки ускользнуть из бытия, Пока над миром льется голос твой... Ты будешь так же петь Свой реквием торжественный, а я — Я стану глиною глухонемой.

VII

Мне — смерть, тебе — бессмертье суждено!

Не поглотили алчные века
Твой чистый голос, что звучал равно
Для императора и бедняка.
Быть может, та же песня в старину
Мирить умела Руфь с ее тоской,
Привязывая к чуждому жнивью;
Будила тишину
Волшебных окон, над скалой морской,
В забытом, очарованном краю.

VIII

Забытом!.. Словно стон колоколов,

Тот звук зовет меня в обратный путь.
Прощай! Фантазия, в конце концов,

Навечно нас не может обмануть.
Прощай, прощай! Печальный твой напев
Уходит за поля... через листву
Опушек дальних... вот и скрылся он,
Холмы перелетев...
Мечтал я? — или грезил наяву?
Проснулся? — или это снова сон?

Май 1819

ОДА МЕЛАНХОЛИИ

Постой, к летейским водам не ходи,
От белладонны отведи ладонь,
Гадюк, уснувших в чаще, не буди
И Прозерпины горьких трав не тронь.
Не надо четок тисовых, ни той
Ночной Психеи, «мертвой головы»,
Чтобы печали совершить обряд,
Ни пугала пушистого совы, —
Они затопят разум темнотой
И сердца боль живую усыпят.

Но если Меланхолии порыв
Вдруг налетит, как Буря с высоты,
Холмы апрельским саваном укрыв,
Клоня к земле намокшие цветы, —
Пусть пышный шар пиона напоит
Печаль твою, — иль неба бирюза,
Или на волнах — радуги узор;
А если Госпожа твоя вспылит,
Сожми ей руку, загляни в глаза,
Не отрываясь, выпей дивный взор.

В нем — Красоты недолговечный взлет, И беглой Радости прощальный взмах, И жалящих Услад блаженный мед. — В яд обращающийся на устах. О, даже в Храме Наслажденья скрыт Всевластной Меланхолии алтарь, И всяк, чье нёбо жаждет редких нег, Поймет, вкусив, что эта гроздь горчит, Что Счастье — ненадежный государь, И душу Скорби передаст навек.

⟨Maŭ⟩ 1819



ОДА ПРАЗДНОСТИ

Они не трудятся, не прядут.

I

Однажды утром предо мной прошли
Три тени, низко головы склоня,
В сандалиях и ризах до земли;
Скользнув, они покинули меня,
Как будто вазы плавный поворот
Увел изображение от глаз;
И вновь, пока их вспомнить я хотел,
Возникли, завершая оборот;
Но смутны, бледны силуэты ваз
Тому, кто Фидия творенья зрел.

П

О Тени, я старался угадать:

Кто вас такою тайною облек?

Не совестно ль — все время ускользать,
Разгадки не оставив мне в залог?

Блаженной летней лени облака

Шли надо мной; я таял, словно воск,
В безвольной растворяясь теплоте;

Печаль — без яда, радость — без венка
Остались; для чего дразнить мой мозг,
Стремящийся к одной лишь пустоте?

III

Они возникли вновь — и, лишь на миг Явив мне лица, скрылись. День оглох. Вдогонку им я прянул, как тростник, Взмолясь о крыльях — я узнал всех трех. Вожатой шла прекрасная Любовь; Вслед — Честолюбье, жадное похвал, Измучено бессонницей ночной; А третьей — Дева, для кого всю кровь Я отдал бы, кого и клял и звал, — Поэзия, мой демон роковой.

IV

Они исчезли — я хотел лететы! Вздор! За любовью? где ж ее искать? За Честолюбьем жалким? — в эту сеть Другим предоставляю попадать; Нет — за Поэзией! Хоть в ней отрад
Мне не нашлось — таких, как сонный час
Полудня иль вечерней лени мед;
Зато не знал я с ней пустых досад,
Не замечал ни смены лунных фаз,
Ни пошлости назойливых забот!

V

Они возникли вновь... к чему? Увы!
Мой сон окутан был туманом грез,
Восторгом птичьим, шелестом травы,
Игрой лучей, благоуханьем роз.
Таило утро влагу меж ресниц;
Все замерло, предчувствуя грозу;
Раскрытый с треском ставень придавил
Зеленую курчавую лозу...
О Тени! Я не пал пред вами ниц
И покаянных слез не уронил.

VI

Прощайте, Призраки! Мне недосуг С подушкой трав затылок разлучить; Я не желаю есть из ваших рук, Ягненком в балаганном действе быть! Сокройтесь с глаз моих, чтобы опять Вернуться масками на вазу снов; Прощайте! — для ночей моих и дней Видений бледных мне не занимать; Прочь, Духи, прочь из памяти моей — В край миражей, в обитель облаков!

(Июнь) 1819



ода к осени

Пора плодоношенья и дождей!

Ты вместе с солнцем огибаешь мызу,
Советуясь, во сколько штук гроздей
Одеть лозу, обвившую карнизы;
Как яблоками отягченный ствол
У входа к дому опереть на колья,
И вспучить тыкву, и напыжить шейки
Лесных орехов, и как можно доле
Растить последние цветы для пчел,
Чтоб думали, что час их не прошел
И ломится в их клейкие ячейки.

Кто не видал тебя в воротах риг?

Забравшись на задворки экономий,
На сквозняке, раскинув воротник,
Ты, сидя, отдыхаешь на соломе;
Или, лицом упавши наперед
И бросив серп средь маков недожатых,
На полосе храпишь, подобно жнице;
Иль со снопом одоньев от богатых,
Подняв охапку, переходишь брод;
Или тисков подвертываешь гнет
И смотришь, как из яблок сидр сочится.

Где песни дней весенних, где они?

Не вспоминай, твои ничуть не хуже,
Когда зарею облака в тени
И пламенеет жнивий полукружье,

Звеня, роятся мошки у прудов,
Вытягиваясь в воздухе бессонном
То веретенами, то вереницей;
Как вдруг заблеют овцы по загонам;
Засвиристит кузнечик; из садов
Ударит крупной трелью реполов;
И ласточка с чириканьем промчится.

19 (?) сентября 1819

День отошел и все с собой унес:

Влюбленность, нежность, губы, руки, взоры, Тепло дыханья, темный плен волос,

Смех, шепот, игры, ласки, шутки, споры. Поблекло все — так вянут вмиг цветы.

От глаз ушло и скрылось совершенство, Из рук ушло виденье Красоты,

Ушел восторг, безумие, блаженство. Исчезло все — и мглою мир объят,

И день святой сменила ночь святая, Разлив любви пьянящий аромат,

Для сладострастья полог тьмы сплетая. Весь часослов любви прочел я днем И вновь молюсь — войди же, Сон, в мой дом!

10 октября 1819

О, если б вечным быть, как ты, Звезда! Но не сиять в величье одиноком, Над бездной ночи бодрствуя всегда, На Землю глядя равнодушным оком, — Вершат ли воды свой святой обряд, Брегам людским даруя очищенье, Иль надевают зимний свой наряд Гора и дол в земном круговращенье, — Нет, неизменным, вечным быть хочу, Чтобы ловить любимых губ дыханье, Щекой прижаться к милому плечу, Прекрасной груди видеть колыханье И, в тишине, забыв покой для нег, Жить без конца — или уснуть навек.



(1819)

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ (1814-1820)







ПОДРАЖАНИЕ СПЕНСЕРУ

Покинул день восточный свой дворец И ввысь шагнул и, став на холм зеленый, Надел на гребень огненный венец. Засеребрясь, ручей, еще студеный, По мхам скользит ложбинкой потаенной И все ручьи зовет с собой туда, Где озеро сверкает гладыю сонной, И отражает хижины вода,

И лес. и небосвод, безоблачный всегда.

И зимородок ярким опереньем
Соперничает с рыбой, в глубине
На миг мелькнувшей радужным виденьем,
Сверкнувшей алой молнией на дне.
А белый лебедь, нежась на волне,
Колеблет арку снежно-белой шеи
Иль замирает в чутком полусне.
Лишь глаз агаты искрятся, чернея,
И сладострастная к нему нисходит фея.

Как описать чудесный остров тот На глади зыбкой светлого сапфира? С Дидоны спал бы здесь душевный гнет, Ушла бы скорбь от горестного Лира. Изведавшая все широты мира,
Таких прозрачных серебристых вод
Не знает романтическая лира, —
Такой страны, где вечно синий свод
Сквозь дымку легкую смеется и зовет.

И роскошь дня объемлет всю природу — Долину, холм, листы прибрежных лоз. Он заключил в объятья землю, воду, Он обрывает куст весенних роз, Как бы сбирая дань пурпурных слез, Цветов перебирает он узоры И горд, как будто яхонты принес, Способные затмить, чаруя взоры, Все почки, все цветы на диадеме Флоры.

(1814)



к миру

Мир! Отгони раздор от наших нив,

Не дай войне опять в наш дом вселиться!
Тройное королевство осенив,
Верни улыбку на живые лица.
Я рад тебе! Я рад соединиться
С товарищами — с теми, кто вдали.

Не порть нам радость! Дай надежде сбыться, И нимфе гор сочувственно внемли. Как нам — покой, Европе ниспошли Свободу! Пусть увидят короли, Что стали пропилым цепи тирании,

Что Вольностью ты стал для всей земли, И есть Закон — и он согнет их выи. Так, ужас прекратив, ты счастье дашь впервые.

1814



Что за диковинная красота! Отныне я изгоняю из воображения всех женщин.

Теренций

Наполни чашу до краев — Я душу потопить готов, И колдовского зелья влей — Забыть о женщинах скорей! Не надо мне благой струи, Дарующей мечты любви: Из Леты жажду я глотка, Чтоб унялась любви тоска. Хочу скорей забыть о той,

Что ослепила красотой.
Пусть милый образ навсегда
Во тьме исчезнет без следа!

Увы! Везде со мной она — Стройна, прекрасна и нежна, Везде со мной лучистый взгляд — Обитель всех земных отрад.

Но счастье мне не суждено: Вокруг уныло и темно, И по классическим строфам Невмоготу скользить глазам.

Услышь она сердечный стук, Избавь улыбкою от мук — Блаженство я бы испытал, Я «радость грусти» бы познал. Тосканец в северной стране Об Арно помнит и во сне: Вот так и ты со мной живи, Сияя светочем любви!

Весна 1814



БАЙРОНУ

Как сладостен напев печальный твой!
Участьем нежным сердце наполняя,
То Жалость, к лютне голову склоняя,
Коснулась струн дрожащею рукой,
И, подхватив неотзвеневший строй,
Отозвалась гармония иная —
Твоя, чей блеск сияет, разгоняя
Мрак горести слепящей красотой.
Так облако, затмившее луну,
По краю озаряется свеченьем;
Так прячет черный мрамор белизну
Прожилок с их причудливым сплетеньем.
Пой песню, лебедь — пой всегда одну,
Пленяющую скорбным утешеньем.

Декабрь 1814

Как голубь из редеющего мрака
Взмывает ввысь, приветствуя восход,
Стремя к заре восторженный полет,
Так взмыл твой дух над сиротливой ракой —
К мирам любви превыше зодиака,
Где славу и сияющий почет
Сонм ангелов на праведников льет

По милости Божественного Знака.

Там в единении с бессмертным хором
Восторженной хвалой ты чтишь Творца —

Иль к звездам устремляешься дозором
По слову Всемогущего Отца.

Удел твой видя просветленным взором,
Зачем нам скорбью омрачать сердца?

Декабрь 1814



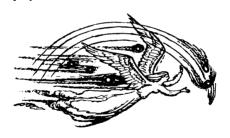
ЧАТТЕРТОНУ

О Чаттертон! Удел печален твой:
 Сын горести, несчастьями вскормленный,
 Как скоро взор твой, гением зажженный,
Застлала смерть суровой пеленой;
Как скоро голос, пламенно живой,
 Умолк, в прощальной песне растворенный:
 Сменила ночь рассвет, едва рожденный,
Увял цветок, застигнутый зимой.
Но нет! Отныне от земного плена
 Тревог и тягот ты освобожден;
Причастный звездам, гимн твой вдохновенно
 С гармонией небес соединен;
Оплаканный, ты памятью священной
 От низкого гоненья огражден.

на освобождение ли ханта из тюрьмы

За слово правды, для властей нелестной,
Был честный Хант посажен под замок.
Что из того? — раз он душою мог
Парить, как жаворонок поднебесный.
Знай, баловень судьбы: твой ключ железный
Поэта взаперти не устерег;
Нет, путь его был волен и высок,
Завиден жребий узника чудесный.
В сад Спенсера летал он; с высоты
Очами Мильтона глядел, крылатый,
На сонмы звезд; и собственной мечты
Творил страну; он, славою богатый,
Все будет жить, — когда истлеешь ты
Со всей своею шайкою проклятой.

2 февраля 1815



к надежде

Когда пред одиноким очагом
Мне сердце омрачает размышленье,
«Глаза души» не грезят дивным сном
И жизни пустошь не сулит цветенья, —
Надежда! Сладостный бальзам пролей,
Лучащимся крылом меня овей!

Когда блуждаю в чаще, где луна
Не льет сквозь мглу ветвей отрадный свет,
И Горесть, Вдохновению страшна,
Пугает Радость, хмурясь ей вослед, —
С лучом луны мрак леса освети
И Радость от Унынья защити!

Отчаянием — отпрыском своим — Грозит ли сердцу Разочарованье, Повиснув черной тучею над ним И жертву обрекая на закланье, — Явись, Надежда светлая, и прочь Гони его, как утро гонит ночь!

Когда со страхом жду я от судьбы
О тех, кто дорог, горестных вестей,
К тебе я возношу свои мольбы:
Зловещий призрак блеском глаз рассей —
Сиянием небесным осени,
Своим крылом спасительным взмахни!

Не даст благословенья отчий дом,

Иль в сердце девы не найду ответа, —

Дай веру, что в безмолвии ночном

Вотще не растворится вздох сонета.

Надежда! Сладостный бальзам пролей,

Лучащимся крылом меня овей!

Да не увижу, как в дали времен
Померкнет честь отчизны дорогой;
Да озарит свобода Альбион —
Не отсвет слабый, не фантом пустой!
Взор ослепляя неземным челом,
Спасительным укрой меня крылом!

Пусть Вольность, зажигавшая сердца, Великая в неброском облаченье, Пред недостойным пурпуром дворца Главою не поникнет в униженье. Надежда ясная, покинь эфир И светом радужным наполни мир!

Как та звезда, что над скопленьем туч Возносится с победным торжеством, На лик небес пролив слепящий луч, Так ты, Надежда, в сумраке ночном На сердце радостный бальзам пролей, Лучащимся крылом меня овей!

Февраль 1815



СТРОКИ, НАПИСАННЫЕ 29 МАЯ, В ГОДОВЩИНУ РЕСТАВРАЦИИ КАРЛА II, ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ

Британцы, неужели, успокоим Мы совесть этим колокольным боем? Мне слух терзает он. Для патриотов он всего постыдней: То звон по Вейну, Расселу и Сидни, То похоронный звон.

Май 1815

к неким молодым леди

Пусть я не сопутствую вам и не знаю Диковинных троп, куда след ваш проник, Не слышу, как речи звучат, восславляя Им дружески внемлющий Цинтии лик.

Но сердцем отзывчивым с вами брожу я Над кручей, низвергшей хрустальный поток, Смотрю, как он хлещет, как буйствуют струи, Как свеж под их брызгами дикий цветок.

Что ж медлить в пути, не пройдя половины? Что сталось? Вам снятся блаженные сны? О нет, — вы услышали плач соловьиный, Взывающий к сильфам при блеске луны.

А утром, едва лишь цветы оросились, Вам взморье предстало, к прогулке маня, И словно я вижу, как вы наклонились И бережно подняли дар для меня.

Когда б херувим на серебряных крыльях Камею принес, украшавшую рай, И сквозь его смех — торжества и всесилья — Мне весть подала сладкогласная Тай, —

Не дал бы тот миг мне полнее блаженства, О милые нимфы, чем ваш талисман, — Из раковин донных само совершенство К прекрасным ногам положил океан.

Воистину светел восторг обладанья (Счастливец, к кому снизойти он готов!) — Не быть обойденным толикой вниманья Высоких. изящных и чистых умов.

JIETO 1815



НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИКОВИННОЙ МОРСКОЙ РАКОВИНЫ И РУКОПИСИ СТИХОВ ОТ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ЛЕДИ

Не твой ли алмаз из Голконды слывет Блестящим, как льдинка с высокой вершины, Как перья колибри, когда он вспорхнет В лучах, преломленных сквозь брызги стремнины?

Не твой ли тот кубок, отлитый на славу, Тот кубок для темных, искрящихся вин, Где, в золоте явлен, Армиду лукаву Лобзает Ринальдо, гроза сарацин?

Не твой ли горячий скакун густогривый? Не твой ли тот меч, что врагов не щадит? Не твой ли тот рог, чьи так мощны призывы? Тебе ль Бритомартис вручила свой щит?

Фиалки и розы на шарфе твоем
Кто вышил по шелку, о юный воитель?
Склонялась ли дама твоя над шитьем?
Куда ты спешишь? Не в ее ли обитель?

О доблестный рыцарь, светла твоя младость, Ты взыскан Фортуной и славой покрыт. Послушай же песню про светлую радость, Что властью поэзии счастье дарит.

Вот свиток, где списана почерком тонким Лучистая песня про цепь и венок. Дано этим строкам — и светлым и звонким — Мой дух исцелять от недуга тревог.

Сей купол изваян в обители фей, И здесь предавался тоске и смятенью, Покинут Титанией милой своей, Король Оберон под причудливой сенью.

И лютни его безыскусный напев
В ночи соловьев зачаровывал хоры,
И духи внимали ему, онемев,
И слезы блестели в очах у Авроры.

Навек сохранит этот маленький свод Щемящих и нежных мелодий томленье. В нем лютня вздыхает и тихо поет, Бессмертно вовек заунывное пенье.

И если я счастья и неги алкаю,

То, сладостным запахом роз упоен,
Я песню про цепь и венок повторяю,
И сходит на душу пленительный сон.

Прощай, храбрый Эрик! Светла твоя младость, Ты взыскан Фортуной и славой покрыт. Мне тоже ниспослана светлая радость: Мне чудо поэзии счастье дарит.

Лето 1815



О женщина! когда тебя пустой, Капризной, лживой случай мне являет — Без доброты, что взоры потупляет, Раскаиваясь с кротостью святой В страданьях, причиненных красотой,
В тех ранах, что сама же исцеляет, —
То и тогда в восторге замирает
Мой дух, пленен и восхищен тобой.
Но если взором нежным, благосклонным
Встречаешь ты, — каким огнем палим! —
О, Небеса! — пойти на бой с драконом —
Стать Калидором храбрым — иль самим
Георгием — Леандром непреклонным —
Чтоб только быть возлюбленным твоим!

Глаза темно-фиалкового цвета,

И руки в ямочках, и белизна
Груди, и шелковых волос волна, —

Кто скажет мне, как созерцать все это
И не ослепнуть от такого света?

Краса всегда повелевать вольна, —

Пусть даже скромностью обделена
И добродетелями не одета.
Но все же быстролетна эта страсть:
Я пообедал — и свободен снова;
Но если прелести лица совпасть

Случится с прелестью ума живого, —

Мой слух распахнут, как акулья пасть,

Чтоб милых уст не упустить ни слова.

Ах, что за чудо это существо!

Кто, на него взирая, не добреет?

Она — ягненочек, который блеет,
Прося мужской защиты. Божество
Да покарает немощью того,

Кто погубить неопытность посмеет,
Кто в низости своей не пожалеет

Сердечка нежного. Трудней всего

Не думать и не тосковать о милой;
Цветок ли попадется мне такой,

Какой она, смущаясь, теребила,

Иль снова засвистит певец лесной, —

И счастья миг воскреснет с прежней силой,

И мир дрожит за влажной пеленой.

(1815)



к одиночеству

О, если осужден я жить с тобой,

То не средь этих пасмурных строений!
Пускай Природы благодатный гений
Овеет нас над вольной крутизной!
И в лес уйдем; и вот над головой
Зеленых арок шевельнутся тени,
Ручей блеснет в кустах, прыжок оленя
Спугнет шмеля с качели травяной.
Да, это — благо; но ловить в тиши
Речь сладкую, где отзвуки души
Мечтательной и дум невероломных, —
Всего блаженней; выше нет отрад,
Когда к твоим убежищам укромным
Два сходных сердца вместе улетят.

(Октябрь) 1815



джорджу фелтону мэтью

Поэзия дарует наслажденье:
Вдвойне прекрасней братство в песнопенье.
О Мэтью! Кто бы указать сумел
Судьбу отрадней, радостней удел,
Чем тот, что выпал бардам столь известным?
Они своим могуществом совместным
Венком почтили Мельпомены храм:
И льет на сердце пылкое бальзам
Мысль о таком содружестве свободном,
Возвышенном, прекрасном, благородном.

Пристрастный друг! Напрасно за тобой Стремлюсь в края поэзии благой, Напрасно вторить я б хотел певучим, Несущимся над гладью вод созвучьям В Венеции, когда закат блестит И гондольер в его лучах скользит. Увы! Иных забот суровый ряд
Меня зовет забыть лидийский лад,
Держа мои стремления в оковах,
И часто я страшусь: увижу ль снова
На горизонте Феба первый луч
И лик Авроры розовой меж туч,
Услышу ль плеск в ручье наяды юной
И эльфа легкий шорох ночью лунной?
Подсмотрим ли опять с тобой вдвоем,
Как сыплется с травы роса дождем,
Когда под утро с празднеств тайных фея
Спешит, незрима смертным, по аллее,
Где яркая полночная луна
Воздушной свитою окружена?

Но если б мог я с Музой боязливой Забыть мгновений бег нетерпеливый --Во мраке улиц, средь тревог и зла Дарить восторг она б не снизошла. Мне явит дева взор свой благосклонный Там, только там — в тиши уединенной, Где, полон романтических причуд, Поэт себе отыскивал приют; Где сень дубов — друидов храм забвенный — Хранит цветов весенних блеск мгновенный. Где над потоком клонят купы ив Ветвей своих сребристый перелив, Где кассии поникшие бутоны С побегами сплелись в глуши зеленой, Где из заглохшей чащи соловьи Разносят трели звонкие свои; Где меж подпор святилища лесного, Под тенью густолиственного крова Таящимся фиалкам нет числа, Где с наперстянкой борется пчела.

Угрюмая руина там извечно Напоминает: радость быстротечна. Но тшетно все! О Мэтью, помоги Услышать Музы легкие шаги, Проникнуться высоким вдохновеньем: Вдвоем мы предадимся размышленьям — Как Чаттертона в запредельный мир Призвал, увенчан лаврами, Шекспир: Как мудрецы к бессмертной славе вящей Оставили в столетьях след слепящий. Нам стойкость Мильтона внушит почтенье; Мы вспомним тех, кто претерпел гоненья, Жестокость равнодушья, боль презренья — И муки превозмог, стремясь упорно На крыльях гения. Затем, бесспорно, С тобой мы всем по праву воздадим, Кто за свободу пал, непримирим: Швейцарец Телль, наш Альфред благородный И тот, чье имя в памяти народной -Бесстрашный Уоллес: вместе с Бернсом он Оплакан будет нами и почтен.

Без этих, Фелтон, воодушевлений Не примет Муза от меня молений; К тебе она всегда благоволит — И сумерки сияньем озарит. Ведь ты когда-то был цветком на лоне Прозрачного источника на склоне, Откуда льются струи песен: раз Диана юная в рассветный час Там появилась и, рукой богини Тебя сорвав, по голубой пучине Навстречу Фебу отпустила в дар, И Аполлон горящею как жар Облек тебя златою чешуею.

Ты умолчал — чему дивлюсь, не скрою, — Что стал ты гордым лебедем потом, И отразил кристальный водоем, Как в зеркале, вдруг облик мне знакомый... К чудесным превращениям влекомый, Ни разу не рассказывал ты мне О том, что скрыто в ясной глубине, О том, что видел ты в волне прибрежной, Сцеловывая корм с руки наяды нежной.

Ноябрь 1815



K***

Если б ты во время оно Родилась — о, как влюбленно Славила б тебя молва! Но опишут ли слова Нежный облик твой чудесный, Ослепительно-небесный? Над лучистыми глазами Брови тонкими чертами, Словно молнии, легли: Чернотой они б могли

Спорить с ворона крылами Над равнинными снегами. Темных локонов извивы. Словно лозы, прихотливы, Вяжут пышные узлы; И за каждым клубом мглы, Будто тайны откровенье — Перлов дивное явленье. Пряди мягкою волной Ниспадают смоляной, На концах змеясь упрямо. Точно кольца фимиама Ясным днем. А сладкозвучный Голос, с лаской неразлучный! А точеность легких ног! Дерзкий взор едва бы смог Проскользичть к ступням желанным Под покровом тонкотканым, Где случается влюбленным Подстеречь их купидонам. Но порой они видны В блеске утренней волны. Подражая белизной Двум кувшинкам над водой. Если б ты в те дни блистала. Ты б десятой Музой стала. Тайну всем узнать пора: Талия — твоя сестра. Пусть отныне в этом мире Будет Грации четыре!

Кем бы ты была тогда, В баснословные года Дивных рыцарских деяний? Серебристой легкой ткани Прихотливые узоры
Не скрывали бы от взора
Белизну груди твоей,
Если б — нет судьбины злей! —
Панцирь не покрыл бы тайной
Красоты необычайной.
Косы шлем покрыл: средь туч
Так гнездится солнца луч.
Твой плюмаж молочнопенный —
Как над вазой драгоценной
Хрупких лилий лепестки,
Белоснежны и легки.

Вот слуга твой горделиво Белой встряхивает гривой, Величаво выступая, Сбруей огненной блистая. Вижу я: в седле ты снова, К бранным подвигам готова; Срубит твой могучий меч Голову дракона с плеч — И конец коварным чарам! Но волшебников недаром Ты щадишь: смертельный яд И твои глаза таят.

14 февраля 1816



K***

Когда бы стал я юношей прекрасным,

Тогда бы вздохами пленить я мог

Твой нежный слух — и в сердце уголок
Завоевал бы обожаньем страстным.

Но не сразить мечом, мне неподвластным,

Соперника: доспехи мне не впрок;

Счастливым пастухом у милых ног

Не трепетать мне перед взором ясным.

Но все ж ты пламенно любима мною —

И к розам Гиблы, что таят вино

Росы пьянящей, шлешь мои мечтанья:
В полночный час под бледною луною

Из них гирлянду мне сплести дано

Таинственною силой заклинанья.

14 (?) февраля 1816

Мне бы женщин, мне бы кружку, Табачка бы мне понюшку!
Им готов служить всегда —
Хоть до Страшного суда.
Для меня желанней рая
Эта Троица святая.

Между осенью 1815 — июлем 1816



ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

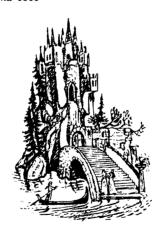
О рыцарях я должен рассказать! С плюмажей белопенных ли начать? Мне видятся волшебные извивы Пера, изысканны и горделивы: Молочную волну склоняет вниз И трепетно колеблет легкий бриз. Жезл Арчимаго властью чудодейной Не смог бы сотворить изгиб лилейный Слепяще белоснежного пера... Сравню ли с ним я наши кивера? О рыцарях я должен рассказаты! Вот в битву устремляется опять Отважное копье. С высокой башни Взирает дева, как герой бесстрашный Разит ее обидчика: она. Восторженного трепета полна, Защитника приветствует с отрадой, В плащ кутаясь от утренней прохлады. Когда ж усталый рыцарь крепко спит, Его копье вода отобразит Под ясенем, средь неприметных гнезд: Их в гущине листвы свивает дрозд. Но буду ли рассказывать о том,

Как мрачный воин яростным копьем. Насупив брови, грозно потрясает, Как древко в гневе бещено сжимает? Иль, войнам предпочтя суровый мир, Влеком он зовом чести на турнир, Где, зрителей искусством покоряя. Метнет копье рука его стальная? Нет, нет! Минуло все... И как дерзну Я тронуть лютни слабую струну, Чье эхо слышу средь камней замшелых И в темных залах замков опустелых? Сумею ль пир прославить — и вина Бутыли, осущенные до дна? А на стене — доспехов мирный сон Под сенью шелком вышитых знамен: И славное копье, и шлем с забралом, И щит со шпорою на поле алом? Красавицы походкою неслышной Кругом обходят зал, убранством пышный, Иль стайками, беседуя, толпятся: Так в небесах созвездия роятся. Но не о них я должен рассказать! Вот смелый конь — он рыцарю под стать, И гордый всадник хваткою могучей Обуздывает нрав его кипучий.

О Спенсер! На возвышенном челе
Лишь лавр напоминает о земле;
Приветлив взгляд и взмах бровей свободен —
Как ясный Феб, твой облик благороден.
Твоим огнем душа озарена
И трепетом возвышенным полна.
Великий бард! Мне дерзости хватило
Призвать твой дух, чтоб благость осенила
Мою стезю. Пусть, милостивый, он,

Внезапностью смущен,
Не возревнует, что другой поэт
Пройдет тропой, где лучезарный след
Либертас твой возлюбленный оставил.
Я вымолю, чтоб он меня представил
Смиренным в дерзновеньях новичком
И преданным тебе учеником.
Услышь его! Надеждой окрыленный,
Я буду жить мечтой, что скоро склоны
Зеленые увижу я холмов
И цитадели в зарослях цветов.

Весна 1816



КАЛИДОР

Фрагмент

По озеру веселый Калидор Скользит в челне. Пирует юный взор, Впивая прелесть мирного заката; Заря, как будто негою объята,
Счастливый мир покинуть не спешит
И запоздалый свет вокруг струит.
Он смотрит ввысь, в лазурный свод прохладный,
Душой взволнованной вбирая жадно
Весь ясный окоем... пока, устав,
Не погрузится взглядом в зелень трав
На взгорьях и дерев, к воде склоненных
В изысканных поклонах.
Вот снова быстрый взгляд его летит
За ласточкой: с восторгом он следит
Ее полет причудливый и резкий
И черных крыл коротенькие всплески,
Где к озеру она прильнула вдруг,
И по воде за кругом легкий круг...

Челн острогрудый мягко рассекает Волну и с тихим плеском проникает В толпу кувшинок: листья их крупны, Соцветья снежной, влажной белизны. Как чаши, к небесам обращены И до краев полны росою чистой. Их защищает островок тенистый Средь озера. Здесь юноше открыт На всю округу несравненный вид. Любой, кто наделен душой и зреньем, Взирал бы с трепетом и восхищеньем, Как всходит лес по склонам синих гор К седым вершинам. Юный Калидор Приветствует знакомые картины. А по краям темнеющей долины Закатный свет играет золотой На каждой кроне, пышной и густой. Там кружат сойки, вспархивая с веток На крылышках затейливых расцветок.

Средь леса башня ветхая стоит И, гордая, о прошлом не скорбит: Ее густые ели заслоняют. Что жесткие плоды с ветвей роняют. Невдалеке, увитая плющом, Виднеется часовенка с крестом: Там чистит перышки в оконной нише Сребристый голубь, что взмывает выше Пурпурных туч... А здесь от смуглых ив Тень зыбкая пересекла залив. Кой-где в укромном сумраке полянки Покажется бубенчик наперстянки, Созвездье незабудок над водой Ручья — и ствол березы молодой Изящно-стройный... Долго сей красою Наш рыцарь любовался: уж росою Кропилися цветы, когда вокруг Серебряной трубы разнесся звук. О радосты! В замке страж со стен высоких Узрел в долине всадников далеких На белых скакунах: тот звук сулит С друзьями встречу! Калидор спешит Челн отолкнуть и мчит к желанной цели, Не слыша первой соловьиной трели, Не замечая спящих лебедей, Стремясь увидеть дорогих гостей.

Вот лодка обогнула мыс зеленый — Скорей, чем облетел бы шмель-сластена Два спелых персика, — и замерла У лестницы гранитной, что вела К угрюмым стенам замка. С нетерпеньем Взлетает юный рыцарь по ступеням, Толкает створы тяжкие дверей, Бежит меж залов, сводов, галерей —

Скорей, скорей! Стук, топот, звон — о, сколько звуков милых! Волшебной пляской фей лазурнокрылых Не так был очарован Калидор, Как этой музыкой! В мощеный двор Он выбежал: два скакуна ретивых И две лошадки стройных и игривых Свой славный груз легко несут вперед Под грозной аркой поднятых ворот. С каким смятением благоговейным. Пылая, он припал к рукам лилейным Прекрасных дам! Как обмерла душа, Когда, спустить их наземь не спеша, Он нежные ступни сжимал руками... С приветными словами К нему склонялись всадницы с седла, И то ль v них на локонах была Роса — иль это влагу умиленья Щекою ощутил он... В упоенье Он прелесть вешнюю благословлял, Что бережно в руках держал. Нежнее пуха, облака свежее Рука лежала у него на шее Подобъем белоснежного въюнка — Прекрасная, округлая рука; И к ней прильнув счастливою щекою, Он замер, полон негой неземною... Но добрый старый рыцарь Клеримон Окликнул юношу. Очнулся он — И сладостную ношу осторожно Спустил на землю. Быстро и тревожно Струилась кровь по жилам жарких рук, Но радость новую в нем вызвал звук Родного голоса. Ко лбу с почтеньем Прижал он длань, что гибнущим спасенье

Дарила и на славные дела Его юнцом безвестным подняла.

Меж тем среди пажей, лаская гриву Могучего коня, стоял красивый Изящный рыцарь: статен и высок, Плюмажем пышным он сшибить бы мог С верхушки гроздь рябины горьковатой Или задеть Гермеса шлем крылатый. Его искусно скованные латы Так плавно, гибко тело облегли — Нигде на свете их бы не сочли Стальной бронею, панцирем суровым: Казалось, что, сияющим покровом Одетый, лучезарный серафим, Сойдя с небес, предстал очам земным. «Вот рыцарь Гондибер!» — младому другу Сэр Клеримон сказал. Стопой упругой Блестящий воин к юноше шагнул И, улыбаясь, руку протянул В ответ на взгляд, горевший восхищеньем, И жаждой подвигов, и нетерпеньем. А Калидор, уже вводя гостей Под своды замка, не сводил очей С откинутого грозного забрала Над гордым лбом, со стали, что сверкала И вспыхивала, холодно-ярка, При свете ламп, свисавших с потолка.

И вот в уютном зале все расселись, И гостьи милые уж нагляделись На розовые звездочки вьюна, Что густо обвился вокруг окна; Сэр Гондибер блестящие доспехи Сменил на легкий плащ — и без помехи Блаженствует; его почтенный друг С улыбкой ласковой глядит вокруг; А юноша историй жаждет славных О подвигах, победах, о неравных Боях с нечистой силой и о том, Как рыцарским избавлена мечом Красавица от гибели ужасной... При этом Калидор приник так страстно К рукам прелестных дев, и взор младой Такой горел отвагою мужской, Что в изумленье те переглянулись — И разом лучезарно улыбнулись.

Прохладный ветерок в окне вздыхал И пламя свечки тихо колыхал; В ночи сливались филомелы пенье, Медвяных лип душистое цветенье, И странный клич трубы, и тишина, И в ясном небе полная луна, И мирный разговор людей счастливых, Как хор созвучный духов хлопотливых, Что на закате освещают путь Звезде вечерней... Безмятежен будь Их сон!..

(Весна 1816)



Тому, кто в городе был заточен,

Такая радость — видеть над собою Открытый лик небес и на покое
Дышать молитвой, тихой, точно сон.
И счастлив тот, кто, сладко утомлен,
Найдет в траве убежище от зноя
И перечтет прекрасное, простое
Преданье о любви былых времен.
И, возвратившись к своему крыльцу,
Услышав соловья в уснувшей чаще,
Следя за тучкой, по небу скользящей,
Он погрустит, что к скорому концу
Подходит день, чтобы слезой блестящей
У ангела скатиться по лицу.

Июнь 1816

О, как люблю я в ясный летний час,
Когда заката золото струится
И облаков сребристых вереница
Обласкана зефирами — хоть раз
Уйти от тягот, что терзают нас,
На миг от неотступных дум забыться
И с просветленною душой укрыться

В заглохшей чаще, радующей глаз.

Там подвиги былого вспомнить вновь, Могилу Сидни, Мильтона гоненья, Величием волнующие кровь, Взмыть окрыленной рифмой на простор — И сладостные слезы вдохновенья Наполнят мне завороженный взор.

Лето 1816



ДРУГУ, ПРИСЛАВШЕМУ МНЕ РОЗЫ

Бродил я утром по лугам счастливым;
Когда вспорхнувший жаворонок рад
Рассыпать вдруг росинок мириад,
Мерцающих дрожащим переливом;
Когда свой щит с узором прихотливым
Подъемлет рыцарь — мой приметил взгляд
Куст диких роз, что волшебство таят,
Как жезл Титании в рывке ревнивом.
Я упоен душистой красотой
Бутонов — им на свете нет сравненья,
И душу мне подарок щедрый твой
Наполнил, Уэллс, восторгом утешенья:
Мне прошептал хор лепестков живой
О дружбе истинной и счастье примиренья.

29 июня 1816



моему брату джорджу

Как много за день видел я чудес!
Прогнало солнце поцелуем слезы
С ресниц рассвета, прогремели грозы,
И высился в закатном блеске лес.
И моря в необъятности небес
Пещеры, скалы, радости, угрозы

О вековечном насылали грезы, Колебля край таинственных завес. Вот и сейчас, взгляд робкий с вышины

Сквозь шелк бросая, Цинтия таится, Как будто средь полночной тишины

Она блаженства брачного стыдится... Но без тебя, без дружеских бесед Мне в этих чудесах отрады нет.

Август 1816



МОЕМУ БРАТУ ДЖОРДЖУ

В унынии провел я много дней: Душа была в смятенье — и над ней Стущалась мгла. Дано ли мне судьбою (Так думал я) под высью голубою Созвучьям гармоническим внимать? Я острый взор не уставал вперять Во мрак небес, где сполохов блистанье; Там я читал судьбы предначертанья: Да, лиру не вручит мне Аполлон — Пусть на закате рдеет небосклон И в дальних облаках, едва приметный, Волшебных струн мерцает ряд заветный; Гуденье пчел среди лесных дерев Не обращу в пастушеский напев; У девы не займу очарованья, И сердце жаром древнего преданья, Увы, не возгорится никогда, И не восславлю прежние года!

Но кто о лаврах грезит, тот порою Возносится над горестной землею: Божественным наитьем озарен, Поэзию повсюду видит он. Ведь сказано, мой Джордж: когда поэтов (Либертасу сам Спенсер молвил это) Охватывает сладостный экстаз,

Им чудеса являются тотчас. И скачут кони в небе горделиво, И рыцари турнир ведут шутливый. Мгновенный блеск распахнутых ворот Непосвященный сполохом зовет: Когда рожок привратника играет И чуткий слух Поэта наполняет. Немедленно Поэта зоркий взгляд Узрит, как всадники сквозь свет летят На пиршество, окончив подвиг ратный. Он созерцает в зале необъятной Прекрасных дам у мраморных колонн — И думает: то серафима сон. Без счета кубки, до краев налиты, Прочерчивают вкруг столов орбиты — И капли влаги с кромки золотой Срываются падучею звездой. О кущах благодатных в отдаленье И смутное составить представленье Не в силах смертный: сочини поэт О тех цветах восторженный сонет — Склоненный восхищенно перед ними, Рассорился б он с розами земными. Все, что открыто взорам вдохновенным, Подобно водометам белопенным, Когда потоки серебристых струй Друг другу дарят чистый поцелуй И падают стремительно с вершины, Играя, как веселые дельфины.

Такие чудеса провидит тот, В ком гений поэтический живет. Блуждает ли он вечером приятным, Лицо подставив бризам благодатным,— Пучина необъятная до дна В алмазах трепетных ему видна. Царица ль ночи в кружеве волнистом Прозрачных туч взойдет на небе мглистом, Надев монашенки святой убор, — Вослед он устремляет пылкий взор. О, сколько тайн его подвластно зренью, Волшебному подобных сновиденью: Случись мне вдруг свидетелем их стать, О многом мог бы я порассказаты!

Ждут барда в жизни многие отрады, Но драгоценней в будущем награды. Глаза его тускнеют; отягчен Предсмертной мукой, тихо шепчет он: «Из праха я взойду к небесным кущам, Но дух мой обратит к векам грядущим Возвышенную речь — и патриот, Заслышав клич мой, в руки меч возьмет. В сенате гром стихов моих разящих Властителей пробудит, мирно спящих. Раздумиям в моем стихотворенье Живую действенность нравоученья Придаст мудрец — и, вдохновленный мною, Витийством возгорится пред толпою. А ранним майским утром поселянки, Устав от игр беспечных, на полянке Усядутся белеющим кружком В траве зеленой. Девушка с венком — Их королева — сядет посредине: Сплелись цвета пурпурный, желтый, синий; Лилея рядом с розою прекрасной — Эмблема страсти, пылкой и несчастной. Фиалки, к ней прильнувшие на грудь, Тревог еще не знавшую ничуть, Покойно дремлют за корсажем. Вот,

В корзинке спрятанный, она берет Изящный томик: радости подруг Конца и края нет — теснее круг, Объятья, вскрики, смех и восклицанья... Мной сложенные в юности сказанья Они услышат вновь — и с нежных век Сорвутся перлы, устремляя бег К невинным ямочкам... Моим стихом Младенца убаюкают — и сном. Прижавшись к матери, заснет он мирным... Прости, юдоль земная! Я к эфирным Просторам уношусь неизмеримым, Ширяясь крыльями над миром зримым. Восторга преисполнен мой полет: Мой стих у дев сочувствие найдет И юношей воспламенит!» Мой брат, Мой друг! Я б стал счастливее стократ И обществу полезней, без сомненья. Когда б сломил тщеславные стремленья.

Но стоит мысли светлой появиться, Воспрянет дух и сердце оживится Куда сильней, чем если бы бесценный Открыл я клад, дотоле сокровенный. Мне радостно, коль ты мои сонеты Прочтешь — пускай они достойны Леты. Бродили эти мысли в голове Не столь давно: я, лежа на траве, Любимому занятью предавался — Строчил тебе; щек легкий бриз касался. Да и сейчас я на утес пустынный, Вознесшийся над шумною пучиной, Взобрался — и среди цветов прилег. Страницу эту вдоль и поперек, Легко колеблясь, исчертили тени

От стебельков. Я вижу в отдаленье, Как средь овса алеют там и сям Головки сорных маков — сразу нам Они на ум приводят пурпур алый Мундиров, вред чинящий нам немалый. А океана голубой покров Вздымается — то зелен, то лилов. Вот парусник над серебристым валом; Вот чайка вольная, крылом усталым Круг описав, садится на волну — То взмоет ввысь, то вновь пойдет ко дну. Смотрю на запад, в огненном сиянье. Зачем? С тобой проститься... На прощанье, Мой милый Джордж (не сетуй на разлуку), Тебе я шлю привет — дай, брат, мне руку!

Август 1816



ЧАРЛЗУ КАУДЕНУ КЛАРКУ

Ты видел ли порой, как лебедь важный, Задумавшись, скользит по зыби влажной? То, шею гибкую склонив к волне, Свой образ созерцает в глубине, То горделиво крылья распускает, Наяд пленяя, белизной блистает: То озера расплескивает гладь. Алмазы брызг пытаясь подобрать. Чтобы в подарок отнести подруге И вместе любоваться на досуге. Но тех сокровищ удержать нельзя, Они летят, сверкая и скользя, И исчезают в радужном струенье, Как в вечности — текучие мгновенья. Вот так и я лишь время трачу зря, Под флагом рифмы выходя в моря; Без мачты и руля — напропалую В разбитой лодке медленно дрейфую; Порой увижу за бортом алмаз, Черпну, — а он лишь вспыхнул и погас. Вот почему я не писал ни строчки Тебе, мой друг: причина проволочки В том, что мой ум был погружен во тьму И вряд ли угодил бы твоему Классическому вкусу. Упоенный Игристою струею Геликона Моих дешевых вин не станет пить. И для чего в пустыню уводить Того, кто на роскошном бреге Байи, Страницы Тассо пылкого листая, Внимал волшебным, звонким голосам, Летящим по Армидиным лесам: Того, кто возле Мэллы тихоструйной Ласкал несмелых дев рукою буйной, Бельфебу видел в заводи речной, И Уну нежную — в тиши лесной, И Арчимаго, сгорбившего плечи Над книгой мудрости сверхчеловечьей; Кто исходил все области мечты. Извелал все оттенки красоты -

От зыбких снов Титании прелестной До стройных числ Урании небесной; Кто, дружески гуляя, толковал С Либертасом опальным — и внимал Его рассказам в благородном тоне О лавровых венках и Аполлоне, О рыцарях, суровых, как утес, О дамах, полных кротости и слез, — О многом, мне неведомом доселе.

Так думал я; и дни мои летели Или ползли — но я не смел начать Тебе свирелью грубой докучать, И не посмел бы. — если б не тобою Я был ведом начальною тропою Гармонии; ты первый мне открыл Все тайники стиха: свободу, пыл. Изящество, и слабость, и протяжность, И пафос, и торжественную важность: Взлет и паренье Спенсеровых строф. Как птиц над гребнями морских валов; Торжественные Мильтона напевы, Мятежность Сатаны и нежность Евы. Кто, как не ты, сонеты мне читал И вдохновенно голос возвышал. Когда до высочайшего аккорда Доходит стих — и умирает гордо? Кто слух мой громкой одою потряс, Которая под грузом, как Атлас, Лишь крепнет? Кто сдружил меня с упрямой Задирою — разящей эпиграммой? И королевским увенчал венцом Поэму, что Сатурновым кольцом Объемлет все? Ты поднял покрывало, Что лик прекрасной Клио затеняло,

И патриота долг мне показал: Меч Альфреда, и Кассия кинжал, И выстрел Телля, что сразил тирана. Кем стал бы я, когда бы непрестанно Не ошущал всей доброты твоей? К чему тогда забавы юных дней. Лишенные всего, чем только ныне Я дорожу? Об этой благостыне Могу ль неблагодарно я забыть И дани дружеской не заплатить? Нет, трижды нет! И если эти строки, По-твоему, не слишком кривобоки, Как весело я покачусь в траву! Ведь я давно надеждою живу, Что в некий день моих фантазий чтенье Ты не сочтешь за времяпровожденье Никчемное: пусть не сейчас — потом; Но как отрадно помечтать о том!

Глаза мои в разлуке не забыли Над светлой Темзой лондонские шпили: О! вновь увидеть, как через луга, Пересекая реки и лога, Бегут косые утренние тени: Поеживаться от прикосновений Играющих на воле ветерков; Иль слушать шорох золотых хлебов, Когда в ночи скользящими шагами Проходит Цинтия за облаками С улыбкой — в свой сияющий чертог. Я прежде и подозревать не мог, Что в мире есть такие наслажденья, -Пока не знал тревог стихосложенья. Но самый воздух мне шептал вослед: «Пиши! Прекрасней дела в мире нет».

И я писал — не слишком обольшаясь Написанным: но. пылом разгораясь. Решил: пока перо скребет само. Возьму и наскребу тебе письмо. Казалось мне, что, если я сумею Вложить все то, что сердцем разумею, Ничто с каракуль этих не сотрет Моей души невидимый налет. Но долгие недели миновали С тех пор. когда меня одушевляли Аккорды Арна, Генделя порыв И Моцарта божественный мотив: А ты тогда сидел за клавесином, То менуэтом трогая старинным, То песней Мура поражая вдруг, Любое чувство воплощая в звук. Потом мы шли в поля, и на просторе Там душу отводили в разговоре, Который и тогда не умолкал. Когда нас вечер с книгой заставал. И после ужина, когда я брался За шляпу, — и когда совсем прощался На полдороге к городу, а ты Пускался вспять, и лишь из темноты **Шаги** — все глуше — по траве шуршали... Но еще долго, долго мне звучали Твои слова; и я молил тогда: «Да минет стороной его беда, Да сгинет зло, не причинив дурного! С ним все на свете празднично и ново: Тоуд и забава, дело и досуг...» Я словно вновь сейчас с тобою, друг; Так дай мне снова руку на прощанье; Будь счастлив, милый Чарли, — до свиданья.

Сентябрь 1816

* * *

Как много славных бардов золотят
Пространства времени! Мне их творенья
И пищей были для воображенья,
И вечным, чистым кладезем отрад;
И часто этих важных теней ряд
Проходит предо мной в час вдохновенья,
Но в мысли ни разброда, ни смятенья
Они не вносят — только мир и лад.
Так звуки вечера в себя вбирают
И пенье птиц, и плеск, и шум лесной,
И благовеста гул над головой,
И чей-то оклик, что вдали витает...
И это все не дикий разнобой,
А стройную гармонию рождает.

1816

СОНЕТ, НАПИСАННЫЙ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ГОМЕРА В ПЕРЕВОДЕ ЧАПМЕНА

Бродя среди наречий и племен
В сияные золотом прекрасных сфер,
В тиши зеленых рощ, глухих пещер,
Где бардами прославлен Аполлон,
Я слышал о стране былых времен,
Где непреклонно властвовал Гомер,
Но лишь теперь во мне звучит размер,
Которым смелый Чапмен вдохновлен.
Я звездочет, который видит лик
Неведомой планеты чудных стран;
А может быть, Кортес в тот вечный миг,
Когда, исканыем славы обуян,
С безмолвной свитой он взошел на пик
И вдруг увидел Тихий океан.

Октябрь 1816

ЮНОЙ ЛЕДИ, ПРИСЛАВШЕЙ МНЕ ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

Встающий день дохнул и свеж и бодр,

И весь мой страх, и мрачность — все прошло.
Мой ясен дух, грядущее светло,

Лавр осенил мой неприметный одр.

Свидетельницы звезды! Жить в тиши,

Смотреть на солнце и носить венок
Из листьев Феба, данный мне в залог
Из белых рук, от искренней души!

Кто скажет: «брось», «не надо» — лишь наглец!

Кто осмеет, пороча, цель мою?

Будь он герой, сам Цезарь, — мой венец
Я не отдам, как честь не отдаю.

И, преклонив колени наконец,

Целую руку щедрую твою.

(1816)



ПОКИДАЯ ДРУЗЕЙ В РАННИЙ ЧАС

Дай мне перо и свиток вощаной — Белее светлой ангельской ладони И света звезд; к юдоли благовоний, В край лучезарный дух умчится мой.

Оживлены божественной игрой
Там колесницы мчат, лоснятся кони,
Искрятся крылья, жемчуга в короне,
И взгляды острые в толпе живой.
Как пенье услаждает чуткий слух!
Строка моя, будь звучно-величавой,
Когда торжественный умолкнет звук.
Сражается теперь мой высший дух,
Чтоб стих мой небесам служил оправой.
И одиноким не очнуться вдруг.

Октябрь — ноябрь 1816



Студеный вихрь проносится по логу,
Рвет на откосе черные кусты;
Морозные созвездья с высоты
Глядят на дальнюю мою дорогу.
Пусть этот ветер крепнет понемногу,
И шелестят опавшие листы,
И леденеет серебро звезды,
И долог путь к домашнему порогу,
Я полон тем, что слышал час назад, —
Что дружбе нашей вечер этот хмурый:

Передо мною Мильтон белокурый, Его Ликид, оплаканный, как брат, Петрарка верный с милою Лаурой — Зеленый, девичий ее наряд.

⟨Октябрь — ноябрь⟩ 1816

моим братьям

Пылает оживленно наш очаг,
Потрескивают угольки уютно,
И чудится сквозь этот шорох смутный
Богов домашних осторожный шаг.
Пока я рифмы не найду никак,
Мечтой по свету странствуя беспутно,
Листаете вы книгу поминутно,
Душевных тягот разгоняя мрак.
Мы празднуем твой день рожденья, Том,
В спокойствии и братском единенье!
Да протекут все наши дни в таком
Покое тихом, как одно мгновенье!
И, призваны Всевышним, обретем
Мы вечный мир в ином предназначенье.

18 ноября 1816



к хейдону

Любовь к добру, возвышенность души

И ревностное славы почитанье

Живут в сердцах людей простого званья —

И в шуме улиц, и в лесной тиши

У мнимого неведенья, в глуши

Самоотверженность найдет признанье

И заклеймит бесстыдное стяжанье,

Награбившее нищие гроши.

Великой цели предан непреклонно,

Обрушит гений справедливый гнев

На выпады корысти оскорбленной

И стадо алчное загонит в хлев,

Хвалой соотчичей превознесенный,

Гоненья злобной Клеветы презоев.

(1816)

к нему же

Великие живут и среди нас:
Один с природой слитый воедино,
Озерный край с вершины Хелвеллина
Вбирает сердцем, не смыкая глаз;
Другой — с улыбкою ведет рассказ,
В цепях хранил он стойкость гражданина;
И третий — тот, чьей кистью исполина
Как будто движет Рафаэля глас.
Век новый в настоящее шагнул,
И многие вослед за ним пришли

Вложить иное сердце в мирозданье И пульс иной. Уже могучий гул Донесся внятно с торжища вдали... Народы! Вслушайтесь, тая дыханье.

20 ноября 1816



Зеленые края — приют поэтов...

Повесть о Римини

Я вышел на пригорок — и застыл:
Прохладный воздух неподвижен был,
И на цветах, что взоры потупляют
И стебли так стыдливо изгибают
От нежного дыханья ветерка,—
Переливались, трепеща слегка,
Алмазы прослезившейся денницы;
И облаков белели вереницы,
Как снежное руно овечьих стад,
Что на лугах небесных сладко спят.
Порой лишь проносился шелест краткий,
Как будто сам покой вздыхал украдкой,
Но тени легких веток и листвы
Не шевелились средь густой травы.
Я поглядел вокруг, и вид отрадный

Наполнил и насытил взор мой жадный: Дорога темной свежей полосой Змеилась и терялась за чертой, И сочные кустарники на склонах Скрывали русла ручейков студеных. Так ясно видел я, так широко! Меркурием, несущимся легко, Я ощутил себя... И, окрыленный Весной цветущей — розовой, зеленой, Я начал собирать ее подарки В букет душистый, пышный, нежный, яркий.

О майские цветы в жужжанье пчел! Вы красите и сад, и лес, и дол; Люблю, чтобы ракита золотая Вас осеняла, и трава густая Студила, и темнел бы мох под ней, Фиалками пронизан до корней. Мне нужен и орешник в колкой плети Шиповника, и легкие соцветья На жимолости, пьющей ветерок; И непременно — молодой росток, Какие тянутся близ древних буков. Из кряжистых корней, как стайка внуков. И пусть родник, что быет из-под корней, Журчит о прелести своих детей, Лазурных колокольчиков; несчастный, Он слезы льет об их красе напрасной: Они умрут по прихоти людской, Оборваны младенческой рукой.

Но где же ваши жаркие зрачки, Златые ноготки? С лучистых век стряхните влажный сон: Великий Аполлон Сам повелел в честь вашего рожденья Под звуки арф устроить песнопенья! Когда же вновь он поцелует вас, Отрада сердца моего и глаз, — Поведайте ему, что в вашем блеске Мне чудятся его сиянья всплески. Вот дикого горошка стебельки На цыпочки привстали: их цветки, Как розовые бабочки, крылаты, Но тоненькие пальцы крепко сжаты.

Постой чуть-чуть на гнущихся мостках Над ручейком, в прибрежных тростниках, — Какая голубиная истома В природе, движущейся невесомо! Как тихо вдоль излучины течет Здесь ручеек: ни звука не шепнет Ветвям склоненным! Как неторопливо Плывут травинки через тень от ивы! Успеешь два сонета прочитать. Пока вода их вынесет опять На быстрину, где свежее теченье Бормочет камушкам нравоученья. Там, извиваясь, пескари стоят Навстречу струям, и блаженство длят В лучах горячих, смешанных с прохладой, И, не насытившись своей усладой, Брюшком в песок ложатся отдохнуть На чистом дне; лишь руку протянуть -Исчезнут вмиг, но стоит отвернуться -Тотчас же осмелеют и вернутся. Малютки-волны забегают в зной Под бережок, где в зелени резной Они остынут и, в прохладе нежась, Подарят зелени питье и свежесть:

Таков обычай истинных друзей — Питать друг друга щедростью своей. Порой щеглы посыплются гурьбою С ветвей, нависших низко над водою: Попьют чуть-чуть, встряхнутся, щебетнут, Пригладят перышки — и вдруг порхнут, Как дети, прочь — и зарябит, мелькая, Окраска крыльев черно-золотая. Ах, если средь подобной красоты Внезапный звук прервет мои мечты. Пусть это будет милый шелест платья Над пышной одуванчиковой ратью, Разбитой в пух, — и легкий шум шагов Среди упругих стеблей и цветов. Каким она румянцем вспыхнет нежным, Застигнута в раздумье безмятежном! Как улыбнется, не подняв очей, Когда я помогу через ручей Ей перейти... О, нежное касанье Ее руки, и легкое дыханье, И из-под русых прядей быстрый взгляд, Когда она оглянется назад! Что далее? Вечернее свеченье Росистых примул, - здесь отдохновенье Найдет надолго взгляд; забыться сном Сознанье бы могло, когда б кругом Бутоны на глазах не раскрывались И мотыльки вкруг них не увивались; Когда б не серебристая кайма Над облачком; и вот луна сама, Сияя, в небосвод вплывает синий... О ты, поэтов светлая богиня, Всех нежных душ отрада и краса! Ты в серебре купаещь небеса. Сливаешься с хрустальными ручьями,

С росой в листве, с таинственными снами, Хранишь затворников и мудрецов. Мечтателей бродячих и певцов. Хвала твоей улыбке благосклонной, Что к вымыслам склоняет ум бессонный; Вбирая твой благословенный свет, Философ мыслит и творит поэт. За строгим рядом строчек стихотворных Нам видятся изгибы сосен горных: Неспешное круженье плавных фраз Боярышником обступают нас; Когда же вслед за сказкою летящей Мы мчим, вдыхая аромат пьянящий, Цветущий лавр и розы лепестки Прохладою касаются щеки: Жасмин сплетается над головою С шиповником и щедрою лозою Хмельного винограда; а у ног Хрустальным голосом звенит поток. И все забыв, над миром мы взмываем И по кудрявым облакам ступаем. Вот так певец безвестный воспарял, Что нам судьбу Психеи описал И страсть Амура: первые касанья Их губ и щек, и вздохи, и лобзанья, Объятий жар, и сладость пылких нег, И под устами трепет влажных век; Запретной лампы свет — исчезновенье — И гром и мрак — разлуку — злоключенья, И как они блаженство обрели И Зевсу благодарность вознесли. Так пел и тот, кто, зелени завесу Раздвинув, приоткрыл нам тайны леса, Где заросли чуть слышно шелестят, Скрывая быстрых фавнов и дриад,

Танцующих на солнечных полянах В гирляндах и венках благоуханных. Испуг Сиринги он поведал нам, От Пана убегавшей по лесам; О нимфа бедная! О безутешный Влюбленный бог! К нему лишь ропот нежный Донесся из прибрежных тростников: Щемящий стон — или манящий зов.

И древний бард, чьему воображенью Предстал Наршисс, к воде в изнеможенье Приникший, — так когда-то брел и он, И вышел на прелестную, как сон, Укромную поляну, где сияло Лесное озерцо и отражало Лазурь небес в своей чистейшей глади И диких веток спутанные пряди. И тут он увидал простой цветок: Неярок и печально одинок, Он над водою замер без движенья И к своему тянулся отраженью, Не слыша ветра, из последних сил Тянулся, и томился, и любил. И бард стоял на этом месте чудном, Когда виденьем странным и подспудным Перед его очами пронеслись Бедняжка Эхо и младой Нарцисс.

Но где, но на каком краю вселенной Блуждал создатель песни вдохновенной, Той вечно юной, как прозрачный ключ, Как светлый лунный луч, Что страннику в ночи дарит виденья Чудесные — и неземное пенье Доносит от цветочных пышных гнезд И шелковистого сиянья звезд? О. далеко! за гранями земного Нашел поэт чарующее слово, И в тех волшебных далях встретил он Тебя. божественный Эндимион! Он, верно, был влюблен, тот бард старинный, И он стоял над миртовой долиной На склоне Латма; ветер, легкокрыл, От алтаря Лианы доносил Торжественные гимны в честь богини. Вступающей в чертог свой звездно-синий. Был ясен лик ее, как детский взгляд, И жертвенного дыма аромат Ей сладок был, — но над судьбой жестокой, Над этой красотою одинокой Поэт златоголосый зарыдал И Цинтии возлюбленного дал.

Царица неба! светлая царица!
Как ни единый светоч не сравнится
С тобой, так нет предания светлей,
Чем эта повесть о любви твоей.
Какой язык, медовый и прозрачный,
Сказать бы смог об этой ночи брачной?

Сам Феб в тот вечер придержал коней И осветил улыбкою своей Твой томный взор, и робость, и желанье, И тайного блаженства ожиданье. Погожий вечер свежестью дышал, В мужей он бодрость юную вливал, И каждый шел, как воин под знамена, Как гордый Аполлон к подножью трона; А жены пылкой, трепетной красой

Сравнились бы с Венерою самой. Прохладного зефира дуновенье. Входя в дома, дарило исцеленье Больным: кто был горячкой истомлен. Впал наконец в глубокий, крепкий сон. — И вскоре пробудился: лихорадка. Боль, жажда, — все исчезло без остатка, И взгляд веселый обращен к друзьям: А те, не веря собственным глазам. Воскресшего целуют и ласкают. И тормошат, и к сердцу прижимают. А юноши и девы в этот час Друг с друга не сводили ярких глаз И так стояли молча, без движенья, В тревожном и блаженном изумленье, Пока стихи не пролилися вдруг. Никто не умер от бесплодных мук, Но рокот строк, в тот миг произнесенных, Как шелковая нить, связал влюбленных. О Цинтия! Смолкает робкий стих Здесь, на пороге радостей твоих. Поэт ли был рожден в ту ночь? Не знаю... Парить в мечтах я дальше не дерзаю.

Вторая половина 1816





сон и поэзия

— На ложе я лежал — сон не смежал Мне вежды. Но зачем же я не мог Вкусить свой отдых в отведенный срок — Не ведаю. Болезнь не одолела Мой дух; недуг мое не мучил тело.

Чосер

Что благостнее ветра в летний зной? Что услаждает больше, чем покой, Который нам несет пчелы жужжаные И лепестков призывное дрожанье? Что сладостней полян, где расцвели Букеты роз от глаз людских вдали? Целебнее, чем тишина в долинах, И сокровеннее гнезд соловыных? Что безмятежней, трепетней, нежней, Чем взор Корделии? В чем суть ясней? Сон, только сон! Ты веки нам смежаешь И нежной колыбельной усыпляешь, Качаешь, мягко нам подушки взбив, Венок из маков и плакучих ив. Красавицам мнешь кудри золотые. Всю ночь секреты слушаешь чужие, А поутру твой гений жизнь вернет В те взоры, что приветствуют восход.

Но что Поэзии непостижимей? Ты горных рек свежей, неудержимей, Прекрасней лебединого крыла И царственней, чем мощный взлет орла! К чему сравненья той, что несравненна? В ней слава, лучезарна и нетленна, И мысль о ней так трепетно-свята, Что отступают тлен и суета. То дальним громом среди гор грохочет, А то в подземной глубине клокочет. То сладким шепотом замрет вдали, Как тайны нераскрытые земли. Чьи вздохи внятны в гулком отдаленье. Мы к небу устремляем взор в моленье: Там жаждем видеть лучезарный свет Иль слышать приглушенный гимн побед. Венок из лавров ветры там качают. — Он только в смертный час нас увенчает. Но радуйся: из сердца рвется вдруг Небесно-чистый вдохновенный звук. Творца всего земного достигает И в шепоте горячем замирает.

Кто видел солнце светлое хоть раз И тяжесть туч, кто в лучезарный час Перед творцом изведал очищенье, Тот знает высшее души горенье, И слух его не стану я опять Рассказом о прозренье утомлять.

Поэзия! Я страстный твой ревнитель, Хотя пока совсем безвестный житель Твоих небес. Что ж, на верху горы

Колени преклонить до той поры. Пока в величье славном и в сиянье Не стану чутким эхом мирозданья? Поэзия! Пером тебе служить Хочу, хотя еще не вправе жить На небесах твоих. Молю я ныне: Дай причаститься мне твоей святыне, Пьянящим духом на меня дохни, В блаженстве дай свои закончить дни. Мой юный дух пусть за лучами солнца К жилищу Аполлона ввысь несется И станет юной жертвой. Хмель густой Цветущих лавров мне навеет рой Видений, чтоб тенистый уголок Стать вечной книгою моею мог: Я списывал бы целые страницы О листьях и цветах, о взлете птицы Порывистом, об играх нимф лесных, О ручейках, о девах молодых. Стихи такие сладостные — чудо, Они звучат, наверное, оттуда, С небес. В моем камине над огнем Порхают тени. Вот уже кругом Великолепный дол открылся взгляду, Я там брожу, как по аллеям сада, В тени блаженной, и когда найдет Мой взор в долине сей волшебный грот Иль холм, чью зелень нежные цветы Прикрыли тонким слоем пестроты, --Все запишу — и охвачу я глазом, Все, что вберет мой человечий разум. И стану я могучим, как титан, Которому весь мир владеньем дан: Вдруг пара крыльев прорастет могучих — И понесет к бессмертию сквозь тучи.

Стой! Поразмысли! Жизнь — лишь день; она Лишь капелька росы — обречена На гибель скорую, когда, катясь, С вершины дерева сорвется в грязь. Индеец спит, пока его пирогу Заносит к смертоносному порогу. Зачем такой печальный слышен стон? Жизнь — розы нераскрывшийся бутон, История, что мы не дочитали, Предчувствие приподнятой вуали; Лишь голубь в ясном небе летним днем, Мальчишка, что катается верхом На ветке вяза.

Мне бы лет двенадцать. Чтоб мог в твоих я тайнах разобраться. Поэзия! Я в этот краткий срок Души стремленья выполнить бы смог. Тогда сумею посетить те страны, Что вижу вдалеке, и из фонтана Попробую прозрачного питья. Сначала в царство Флоры с Паном я Скользну. Прилягу отдохнуть в траву, Румяных яблок на обед нарву, Найду в тенистых рощах нимф игривых, Похищу поцелуи с губ пугливых, Коснусь я рук — и белых плеч потом — Почувствую укус... Но мы поймем Друг друга в этом благодатном месте И сказку жизни прочитаем вместе. Научит нимфа голубя, чтоб он Крылом тихонько овевал мой сон. Другая, грациозно приседая, Подол зеленый чуть приподнимая, Вдруг в танце закружит — то тут, то там, Деревьям улыбаясь и цветам.

А третья за собой меня поманит Сквозь ветки миндаля — и зелень станет Для нас блаженным сказочным ковром, А мы, как две жемчужины, вдвоем В одной ракушке...

Неужели нужно Покинуть этот мирный край жемчужный? Да! Должен я спешить: зовет труба Туда, где бури, страсти и борьба Людских сердец. Я вижу колесницу Над скалами, где бирюза искрится, Белеет пена в гривах скакунов, Возница ждет среди крутых ветров. По краю тучи скакуны несутся, Гремят колеса, гривы буйно вьются; Вот ближе звонкий перестук копыт, И колесница вниз с холма скользит. Стволы качает ветер, в них резвится, С деревьями беседует возница. И странным откликом звучат в горах Восторг и стон, благоговенье, страх. Чv! Полнится неясными тенями Пространство сумрачное меж дубами, Под музыку несется кто-то вскачь, -Я слышу голоса, и смех, и плач. Кто сжал в гримасе рот, а кто руками Закрыл лицо; у тех во взоре пламя; А те, улыбкой освещая взор, Спешат зловещей тьме наперекор. Те озираются, а эти вверх глядят, — Их тысячи — все движутся не в лад. Вот дева мчится — щеки рдеют в краске, Смещались локоны в их буйной пляске. Всех слушает таинственный возница, Все пристальнее вглядываясь в лица.

Как ветер гривы скакунам колышет!
Ах, знать бы мне, что сей возница пишет!
Теней — и колесницы след исчез
В неясном свете сумрачных небес.
Реальность кажется реальней вдвое,
Как мутная река, она с собою
В ничто уносит душу. Но опять
Видение я стану воскрешать:
Таинственная эта колесница
Торжественно по свету мчится, мчится...

Неужто нет в нас ныне прежних сил. Чтоб выше дух фантазии парил? Где скакуны, что понесут нас смело По облакам, свое свершая дело? Нет больше тайн? Изучены эфир И нераскрытой почки нежный мир? Юпитера суровое веленье — И нежное зеленое цветенье Лугов альпийских? Был алтарь святой На этом острове. И песне той, Что здесь царила, гармоничной, плавной, С тех пор на свете не бывало равной. Планете уподобясь мощный звук По пустоте свершал за кругом круг. Искусство муз во времена былые Ценилось выше: кудри золотые Расчесывали музы круглый год И пели, заслужив за то почет.

Что ж, это все забыто? В самом деле? Невежество и варварство хотели, Чтоб Аполлон мучительно краснел За жалкий царства своего удел. Кто оседлал картонную лошадку, Тот полон был уверенности сладкой:

Под ним — Пегас. О, дерзостный обман! Ревут ветра, взметнулся океан, -Но вы глухие. Бездна голубая Раскрыла грудь свою. Роса, сверкая, В ночи скопилась — и в рассветный час Она разбудит утро — но не вас. Бесчувственные к истинной природе, Вы слепы, вы подвластны только моде, Ваш сломан компас, заржавел секстант И сгинул заблудившийся талант. Притом вы, дерзкие, других учили Прокладывать стихов негодных мили. Бездарностей несметное число Спокойно превратили в ремесло Поэзию. И даже Аполлона Подвергли понощенью исступленно. — И сами не заметили того; Лишь в узкой мерке мнилось торжество, Виднелось меж девизов устарелых Лишь имя Буало.

Но вы, кто смело
Парит в сиянье голубого дня
И чье величье радует меня,
Почтеньем робким душу наполняя, —
Здесь начертать святые имена я
Не смею. Разве Темзы скорбь и муть
Приносят радость вам когда-нибудь?
Неужто вы над Эйвоном в печали
Не собирались, слез не проливали?
Сказали ль вы последнее «прости»
Краям, где лаврам больше не расти?
Или остались с духом одиноким,
Кто, юность краткую воспев, с жестоким
Столкнулся миром и угас? Но нет,
Не надо думать мне о веке бед!

Наш век — светлее: свежими цветами Вы нас теперь благословили сами. Аккорды в хрустале озерных вод — Их в черном клюве лебедь нам несет. А из густых лугов светло и гордо Летят в долину звучные аккорды И плавно растекаются по ней. Свирель поет отчетливей, звучней, — Вы счастливы и лучезарны стали...

Все это так; но вот затрепетали В тех сладких песнях странные грома: С величием сменналась Монь сама. Но ведь, сказать по правде, эти темы -Дубинки, а поэты-Полифемы Тревожат ими море. Вечный свет -Поэзия, ей иссяканья нет. Тихонько мощь в ней дремлет, и могли бы Ее бровей изящные изгибы Очаровать. Ее не грозен вид -Она лишь мановением царит. Хоть родилась от муз, но эта сила — Лишь падший ангел; вмиг бы своротила Деревья с корнем; саван, черти, тьма Ту силу радуют, ее сама Изнанка жизни, тернии питают; О силе помня, часто забывают Поэзии живительный итог: Дать утешенье и ввести в чертог Высокой мысли.

Я ликую все же: Ведь семя горькое дать может тоже Прекрасный гордый мирт. И в нем найдут Лесные пташки благостный приют, И крылья их захлопают над сенью, Наполнят воздух шебет их и пенье! От терниев густых очистим ствол, Чтобы оленей выводок нашел С цветами дикими ковер из дерна, Когда отсюда мы уйдем покорно. Пускай ничто не будет здесь грозней, Чем вздох влюбленного в тени ветвей, Взволнованней, чем безмятежный взгляд Над книгой, чьи страницы шелестят, И трепетней, чем склоны травяные Холмов. О вы, надежды золотые! Там, где царят покой и тишина, Воображенью будет не до сна. Среди поэтов только тот король, Кто горестных сердец утишит боль. Дожить бы до поры блаженной этой! Не скажут ли, что на венец поэта Я тщетно мечу; что в бесславный миг Лицо мне лучше спрятать от других? Склонись, мальчишка жалкий и плаксивый, Пока не грянул гром велеречивый! Нет! Если спрячусь — только в угол тот, Где свет Поэзии сильней блеснет. А если я умру, тогда... Ну, что же: Под сенью тополей меня положат, И надо мною зашумит трава, И начертают добрые слова... Но прочь, печаль! Ведь тот еще не знает Отчаянья, кто мудро притязает Достигнуть высшей цели бытия И жаждет этого. Пусть даже я Наследства мудрого совсем не стою, Не властен над ветров шальной игрою, Пусть мне не сделать темный дух людей Открытее, прекрасней и светлей, —

Но где-то на окраине земли Свет мудрости мерцает мне вдали, Поэзии секреты открывая. Моя свобода там, я это знаю. Мне так же цель поэзии ясна. Как то, что чередой идут весна И лето, осень сменится зимою; Как то, что шпиль церковный надо мною Сквозь облака произает синеву. Нет, я ничтожным трусом прослыву, Коль дрогнет малодушно хоть ресница И скрою то, что ясно, как денница. Пусть я шальным безумцем поскачу Над пропастью, пусть жаркому лучу Дам растопить дедаловские крылья И рухну вниз — в Икаровом бессилье. Но разум успокоиться велит. Вдали в тумане океан блестит: Усыпан островками, бесконечен... Как труд мой долог, безнадежен, вечен! Ужель измерить эту ширь дерзну, Смиренно отреченье не шепну И не скажу: нет, невозможно это! Нет. невозможно!

Робких мыслей светом Я стану жить. И странный опыт мой Пусть завершится кроткой тишиной. Пусть не могу сейчас прогнать тревогу, Я в сердце дружеском найду подмогу! Ведь братством, честью, дружеством щедра Тропа людская к торжеству добра. Биенье сердца, породив сонеты, Их направляет в голову поэта. Родятся рифмы в звонкой тишине И празднично ликуют в вышине,

Как бы посланье из грядущей дали, Как книга, что с уютной полки сняли, Чтоб завтра вместе радоваться ей И наслаждаться светом прежних дней. Едва пером вожу: мелодий стаи. По комнате, как голуби, порхая, Напоминают о восторге дня, Когда впервые тронули меня. Мелодии все крепнут — и вот-вот Отправятся в пленительный полет И образов пробудят вереницу: Вакх выпрыгнет из легкой колесницы, На Ариадну взор он устремит, Ему ответит жар ее ланит. Так звучные слова я вспоминаю, Когда альбом рисунков раскрываю И сквозь прозрачность невесомых строк Струится мирных образов поток: Вот лебедь в камышах густых таится, А вот вспорхнула из кустов синица. Вот бабочка. Раскинула крыла, Приникла к розе — и насквозь прожгла Ее земная радость. Снова, снова Я извлекаю множество такого Из памяти — но не забыть бы мне О маками увитом тихом сне. Он рифмы мне подсказывает споро И властен шумно-дружеские хоры Блаженной тишиною заменить. Я об ушедшем дне могу грустить, О радостях его, в своей постели. То был поэта дом — ключи звенели От храма радости. Из темноты Чуть виделись знакомые черты Поэтов прошлого. Мертвы и зыбки

Их мраморно-холодные улыбки. Как счастлив тот, кто будущим векам Свою вверяет славу. Были там Сатиры, фавны — резвыми прыжками Сквозь листья устремились за плодами Созревшими. Вот храм передо мной. Вот по траве беспечною гурьбой Проходят нимфы — и рукою белой Одна из них уже почти задела -Луч солнца. А на полотне другом Склонились сестры — и глядят вдвоем На робкие движения ребенка. Вот нимфы вместе слушают, как звонко Пастушья дудка на лугу поет. Вот нимфа покрывало подает. Чтоб вытерлась купальщица Диана, И кончик покрывала непрестанно Трепещет и соседствует с водой: Так океанский пенистый прибой Бросает белизну свою на скалы. Чтобы она вдоль брега трепетала, А после, пенной влагой поиграв, Ее развеет по ковру из трав. Покорно Сафо голову склонила. Полуулыбка на устах застыла, В чертах ее покой: давно сошла Печать угрюмых дум с ее чела.

Вот рядом мраморный Альфред Великий С сочувствием и жалостью на лике К терзаньям мира. Вот Костюшко — он Страданьем благородным изможден. А вот Петрарка в рощице зеленой, Явленьем Лауры вновь потрясенный. Счастливцы! Мощных крыльев гордый взлет Им виден. Лик Поэзии сверкнет Меж ними — и пред ней такие дали, Куда проникнуть я смогу едва ли. Но мысль о них меня лишала сна, И мысль о них, и лишь она одна, Во мне питала вспыхнувшее пламя... Рассвет своими ранними лучами Коснулся глаз, врасплох застав меня, — Я встал навстречу разгоранью дня. Я за ночь отдохнул, стал разум светел. Готов приняться я за строки эти, И, как они ни выйдут, я — творец, Они мне сыновья, я им — отец.

1816



НАПИСАНО ИЗ ОТВРАЩЕНИЯ К ВУЛЬГАРНОМУ СУЕВЕРИЮ

Печальный звон колоколов церковных К мольбам иным, к иным скорбям зовет, Суля наплыв неслыханных забот И проповедей мерзость празднословных. Наш дух во власти колдовских тенет. Он от бесед высоких, от любовных Утех, лидийских песен, безгреховных Отрад у камелька нас оторвет. Пробрал бы душу этот звон постылый Ознобом, как могильный смрадный хлад, Но, как хиреющей светильни чад, Как вздох последний, сгинет звук унылый, А имена Бессмертных с новой силой В садах благоуханных зазвучат.

22 декабря 1816



к костюшко

Костюшко! Меж прославленных имен,
Как дум высоких нива золотая,
Блестит твое, гармониями рая,
Хоралом сфер земной тревожа сон.
И там, из туч прорвавшись в небосклон,
Где имена бессмертные, блистая,
Чаруют слух, как музыка святая,
Где каждому воздвигнут звездный трон,
Оно пророчит, что настанет час —
И добрый дух повеет над землей, —
Тогда с мужами древности, с Альфредом
Туда, туда, где правит Бог живой,
Всемирным гимном призовешь ты нас —
К Великому, чей лик еще неведом.

Декабрь 1816

К ДЖ. А. У.

С улыбкой нимфы, голову склоня,

Ты взглядываешь искоса, украдкой.
В какой небесный миг своей повадкой
Ты обольстительнее для меня?
Уйдя ли в лабиринт беседы сладкой
Иль светлых дум? Встречая ль проблеск дня,
Когда танцуешь меж цветов с оглядкой,
Чтоб их не смяла узкая ступня?
Ты создана столь сладостно, что дух
Займется, когда, превращаясь в слух,
Полураскроешь схожие с бутоном
Уста... Не легче ль мне умом смущенным
Решить, какая Грация бы двух
Подруг затмила перед Аполлоном?

Декабрь 1816

Благословенна Англия! Вовек
Другой земли для счастья нам не надо;
О чем еще мечтать, дыша прохладой
Ее лесов, ее небыстрых рек?
Но иногда мне мыслится побег
К долинам италийским; и громады
Суровых Альп мои объемлют взгляды,
И их слепит вершин алмазный снег.
Благословенна Англия! Нежны
Ее простые дочери, безмолвны
Их ласки, а глаза, как день, ясны...

Но иногда я грежу о других — Чей глубже взгляд — и слышу пенье их, И нас несут полуденные волны...

(Декабрь) 1816



КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

Вовеки не замрет, не прекратится
Поэзия земли. Когда в листве,
От зноя ослабев, умолкнут птицы,
Мы слышим голос в скошенной траве
Кузнечика. Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве,
То зазвенит, то снова притаится
И помолчит минуту или две.
Поэзия земли не знает смерти.
Пришла зима. В полях метет метель,
Но вы покою мертвому не веры

Пришла зима. В полях метет метель,
Но вы покою мертвому не верьте.
Трещит сверчок, забившись где-то в щель.
И в ласковом тепле нагретых печек
Нам кажется: в траве звенит кузнечик.

30 декабря 1816

Мрачили долго темные туманы Равнины наши, но повеет юг Теплом желанным — и сойдет недуг С больных небес, и сгладятся изъяны; И вот уж месяц, залечивший раны, Нам дарит майский день из первых рук, Блестят ресницы, вздрагивая вдруг, Как розы под дождем или тюльпаны; И проплывают в воплощеньях зримых Все мысли: зеленеющий лесок — Плоды в листве — луч солнца на овинах — Щека Сафо — речная гладь рассвета — Часов песочных медленный песок — Дыхание ребенка — смерть поэта.

31 января 1817



посвящение. ли ханту, эсквайру

Краса и слава не вернутся к нам: Не видеть больше утренней порою, Как вьется пред смеющейся зарею, Венком сплетаясь, легкий фимиам;
Не встретить нимф, спешащих по лугам
Нежноголосой праздничной толною
Колосьями, цветами и листвою
Украсить Флоры ранний майский храм.
Но есть еще высокие мгновенья —
И благодарен буду я судьбе
За то, что в дни, когда под тихой сенью
Не ищут Пана на лесной тропе,
Бесхитростные эти приношенья
Отраду могут подарить тебе.

Февраль 1817



COHET,

записанный на чистой странице поэмы Чосера «Цветок и лист»

Поэма эта — рощица, где дует Меж чутких строк прохладный ветерок; Когда от зноя путник изнемог, Тень лиственная дух его врачует.

Зажмурившись, он дождь росинок чует
Разгоряченной кожей лба и щек;
И коноплянки слыша голосок,
Угадывает, где она кочует.

Какая сила в простоте святой!
Какая бескорыстная отрада!
Ни славы мне, ни счастия не надо, —

Лежал бы я теперь в траве густой
Без слов, без слез! — как те, о чьей печали
Никто не знал... одни лишь птицы знали.

27 февраля 1817



НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛАВРОВОГО ВЕНКА ОТ ЛИ ХАНТА

Минуты мчатся, но прозренья нет:
 Досель мой разум неземная сила
 В дельфийский лабиринт не погрузила,
Бессмертной мысли мне не брезжит свет.
За щедрость чем воздать тебе, поэт?
 Она две ветки хрупкие скрепила
 И мне венок торжественный вручила,
Но в тягость мне мечты моей предмет.
Летят минуты. Где же упоенье
Высоких грез? Увы, я их лишен.

Гляжу на вечное ниспроверженье Венцов земных, Тюрбанов и Корон, И в странные пускаюсь размышленья О всех, кто славою превознесен.

Февраль 1817

ДАМАМ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ МЕНЯ УВЕНЧАННЫМ

Венок лавровый! Что во всей вселенной С тобой сравнится, о счастливый круг? Луны ли нимб — иль пенье трех подруг В гармонии девически блаженной? Иль трепет моря, нежный и мгновенный, Что зимородок нагоняет вдруг? Иль розан утренний, росист и туг? Но все сравнения несовершенны. Сравню ль с тобой серебряный поток Апрельских слез, иль майские луга, Иль бабочек июньских появленье? О нет, всего пленительней — венок; Но, глаз прекрасных преданный слуга, Он вам приносит дань благоговенья.

Февраль 1817



ОДА АПОЛЛОНУ

Бог золотого лука,
И золотой кифары,
И золотого света, —
О колесничий ярый,
Чья колесница,
Тьму разгоняя, мчится,
Как же избегнул кары
Я, нацепивший сдуру лавровый твой венок,
Славы твоей эмблему,
Дивную диадему —
Или червю такому ты не отмицаешь, бог?!
О, Аполлон Дельфийский!

Зевс потрясал громами,
Спутник его крылатый,
Перья свирепо вздыбив,
Щерился, но раскаты,
Словно под спудом,
Глохли, сменяясь гудом:
Но почему ж меня ты

Спас от расплаты лютой, но для чего же ты Нежные тронул струны И усмирил перуны; Этакой-то личинке — таинство доброты?! О, Аполлон Дельфийский!

Близилась ночь. Плеяды
Были уже в дозоре;
И по соседству с ними
Шумно трудилось море,
Эхо тревожа;
Чуден был мир, — и кто же,
Кто же себе на горе
Лавры себе присвоил, а уж решил, что — власть;
И ухмылялся мерзко,
И похвалялся дерзко,
И вот теперь возжаждал ниц пред тобою пасть?!
О, Аполлон Дельфийский!

Февраль — март 1817

ПРИ ОСМОТРЕ ОБЛОМКОВ ПАРФЕНОНА, ПРИВЕЗЕННЫХ ЭЛГИНОМ

Изнемогла душа моя... Тяжел
Груз бренности, как вязкая дремота;
Богам под стать те выступы, те своды,
А мне гласят: ты к смерти подошел, —
Так гибнет, в небо вперившись, орел.
Одну отраду мне дала природа:
Лить слезы, что не будит для полета
Меня пастух рассветных туч, Эол.
Восторг ума, бессильного — причиной
Тому, что сердце мучает разлад.

Томит тоска от красоты старинной, В которой все: Эллады гордый клад, И варварство веков, и над пучиной Блеск утра — и величия закат.

Не позднее 3 марта 1817

БЕНДЖАМИНУ РОБЕРТУ ХЕЙДОНУ

вкупе с сонетом, написанным при осмотре обломков Парфенона, привезенных Элгином

Прости мне, Хейдон: о великом ясно
Заговорить мне недостанет сил;
Прости — орлиных не расправить крыл,
Не отыскать желаемое страстно.
Но будь мое стремленье не напрасно —
С вершины той, где ключ кастальский бил,
Раскат могучий я бы подхватил
Стихом бестрепетным, гремящим властно.
Знай: был бы он тебе с благоговеньем,
Тебе по праву пылко посвящен:
Когда толпа с тупым недоуменьем
На дар небес взирала — озарен
Звезды Востока трепетным свеченьем,
Ты первым к ней ступил — свой принести поклон.

Не позднее 3 марта 1817

НА ПОЭМУ ЛИ ХАНТА «ПОВЕСТЬ О РИМИНИ»

Ты любишь созерцать зарю вполглаза, Прильнув к подушке заспанной щекой? Очарованью этого рассказа Поддайся — и проникнешься тоской По луговине с плешущей рекой.

Твой медлит взор: небесный блеск не сразу Он пьет, скользя по Веспера алмазу.

Тебя объемлет звездный свет, покой,

Как этот стих о ночи, осиянной

Божественной охотницей Дианой.

А если ты отчасти моралист,

Твой дух найдет в бору приют желанный, Где ель роняет шишки, воздух мглист, Поют зорянки, сохнет палый лист.

Не позднее 25 марта 1817

MOPE

Шепча про вечность, спит оно у шхер,

И вдруг, расколыхавшись, входит в гроты,

И топит их без жалости и счета,

И что-то шепчет, выйдя из пещер.

А то, бывает, тише не в пример,

Оберегает ракушки дремоту На берегу, куда ее с излету

Последний шквал занес во весь карьер.

Сюда, трудом ослабившие зренье!

Обширность моря даст глазам покой.

И вы, о жертвы жизни городской, Оглохшие от мелкой дребедени,

Задумайтесь под мерный шум морской,

Пока сирен не различите пенья!

16—17 апреля 1817

СТРОКИ

Неслышимый, незримый,
Склонился я к любимой
Проститься с серебристой истомой сонных рук.
О, их прикосновенье —
И счастье, и мученье:
Сначала душу ранит, потом целит недуг.

О, веки — чудный глянец, И влажных губ румянец, И тени звуков сладких вкруг них витают вновь; Объят я тишиною, Но их слова со мною: «Ни меры, ни пределов не ведает любовь».

Наставницы столь нежной Я ученик прилежный; Для шалостей сладчайших был этот день рожден — И я, не промедляя, Вкушу утехи рая, Хоть залился румянцем рассветный небосклон.

Не позднее 17 августа 1817

Жду тебя, любовь,
Под зеленой сенью...
Жду тебя, любовы
Слава — наслажденью!

Жду, где вешний луг Нам расстелит травы! Жду тебя, мой друг! Наслажденью — слава!

Жду, где первоцвет Жмется к изголовью... Жду тебя, мой свет, Будь моей Любовью!

Я постиг, постиг! — Миг бесценной страсти — Только краткий миг, Дуновенье счастья.



Но еще оно
Не промчалось мимо.
Но еще дано
Жить и быть любимым.

В мире есть любовы! Жду ее, влюбленный! Умереть готов, Счастьем упоенный!

(1817)

[ИЗ ПИСЬМА ДЖ. Г. РЕЙНОЛДСУ]

Вот готический стиль:

К небу тянется шпиль,

На колоннах — святые отцы.

Рядом арка и дом,

Арка тронута мхом,

Дом приветствует — «Вильсон. Квасцы».

Студиозусов рой:
Не увидишь порой
Ни единого за день профана;
Громоздится собор,
Заливается хор,
Ну и ректору тоже — осанна!

Очень много травы,
Очень много листвы
И оленей — не только для лирики;
И уж если рагу —
«Отче наш» на бегу,
И к тарелкам бросаются клирики.

Сентябрь 1817, Оксфорд

K***

Не печалься, не беда: Туча сгинет вскоре. Лишь вздохни — и навсегда Позабудь о горе. Отчего грустят глаза,

Губы замолчали? Ведь одна твоя слеза Смоет все печали. Так поплачь о горе том: Я слезинки эти Сосчитаю, чтоб потом Радостью стереть их.

А от слез твой взгляд живой Ручейка яснее, И певучий шепот твой Музыки нежнее.

Пусть же смерти нашей час Подойдет печальный — На губах умрет у нас Поцелуй прощальный.

Ноябрь 1817



из поэмы «эндимион» [гимн пану]

…и пел огромный хор: «О ты, кто свой раскидистый шатер Восставил на шершавые стволы Над морем тишины и полумглы, Цветов незримых и лесной прохлады;
Ты наблюдаешь, как гамадриады
Расчесывают влажные власы,
И бессловесно долгие часы
Внимаешь песне тростника в воде
В местах пустынных и злотворных, где
Плодится трубчатый болиголов,
И вспоминаешь, грустен и суров,
Как за Сирингой долго гнался ты
Сквозь травы и кусты,
Внемли тебе слагаемый пеан,
Великий Пан!

О ты, кому тревожно и влюбленно Воркуют горлицы в листве зеленой, Когда ступаешь ты через луга, Что солнцем обрамляют берега Твоих замшелых царств; кому несет Смоковница с почтеньем каждый плод; Кому любой обязан жизнью злак — Цветущие бобы, пшеница, мак; Кому в полях широких спозаранок Возносятся напевы коноплянок И для кого зеленый свой покров Сплетают травы; крылья мотыльков Тебя встречают праздничным нарядом, —

Так очутись же с нами рядом, Как ветер, что над соснами возник, — Божественный лесник!

О ты, кому, вольны и своенравны, Спешат служить сатиры или фавны, Чтоб зайца на опушке подстеречь, От коршуна ягненка уберечь — Поживу для прожорливой утробы;
Иль пастухов из сумрачной чащобы
Вернуть на им желанную тропу;
Иль, к берегу направивши стопу,
Ракушки собирать с прибрежных гряд,
Чтоб их кидать исподтишка в наяд
И за деревья прятаться в усмешке,
Когда они чернильные орешки
И шишки юных пихтовых дерев
Друг в друга целить станут, осмелев, —
Во имя эха над долиной дикой —
Явись, лесной владыка!

О ты, кто взмахи ножниц без конца
Считает, чтобы за овцой овца
Ушла остриженной, — ты, в рог трубящий,
Когда кабан, придя из темной чащи,
Пшеницу топчет, — ты, поля свои
Спасающий от бурь и спорыньи, —
Творитель звуков, что из-под земли
Доносятся на пустошах, вдали
Средь вересков лиловых угасая, —
Ты отворяешь двери, ужасая
Безмерным знаньем неземных пучин,
Дриопы славный сын,
Узри к тебе идущих без числа
С венками вкруг чела!

Останься необорною твердыней Высоким душам, жаждущим пустыни, Что в небо рвутся, в бесконечный путь, Питая разум свой, — закваской будь, Которая тупой земли скудель Легко преобразует в колыбель, —

Будь символом величия природы, Небесной твердью, осенившей воды, Стихией будь, летучею, воздушной, — Не будь ничем иным! — И мы, послушно Собравшись посреди лесных полян, Тебе возносим радостный пеан, — Внимай же хору голосов, звучащих В твоих ликейских чащах!»



[ПЕСНЯ ИНДИЙСКОЙ ДЕВУШКИ]

О Печаль, Печаль!
И тебе не жаль
Отнимать у губ нежность краски алой,
Чтоб покрыть багрянцем
Розу, словно румянцем?
И не твоя ли рука маргаритки срывала?

О Печаль, Печаль!
И тебе не жаль
Угасить сверкающий взор соколиный,
Чтоб зажечь огни светлячков —
Иль чтоб ночью безлунной у берегов
Серебрился солью вал морской пучины?

О Печаль, Печаль!
И тебе не жаль
Похищать напев у девы несчастной,
Чтобы по вечерам
Внимать соловьям
Над росистою рошей в дымке неясной?

О Печаль, Печаль!
И тебе не жаль
Гнать беспечность с веселого празднества мая?
Не примнут башмачки
Ноготков лепестки
(Пусть не будет их счастью ни меры, ни края),
Не потопчут цветы,
Что вспоила ты,
Даже если плясать будут, не уставая.

Прощай же, Печаль!
Устремляюсь я вдаль —
Навсегда разлучаюсь с тобою.
Но Печаль — она
Мне навеки верна
И любит меня всей душою.
Как буду одна я
Без нее — я не знаю:
Она любит меня всей душою.

О странник милый!

Нет больше силы

За счастьем скитаться по свету.

Мне оно не даровано:

Волшбой околдована,

Утрачу я юность и свежесть расцвета.

О приди, Печаль! Услада Печаль!

Как младенца, тебя на груди я взлелею.

Я хотела слукавить

И тебя оставить.

Но люблю все сильнее, сильнее.

О, некому, некому, Больше некому Мне, одинокой, дать утешенье. Ты нежна и добра, Ты мне — мать и сестра,

Ты мне брат и любимый под лиственной сенью!

18 апреля — 28 ноября 1817

в зимнюю ночь

I

Зимой, в ночи кромешной, Блаженный нищий сад, Ты позабыл, конечно, Как ветви шелестят. Пускай ветрам неймется, И дождь холодный льется, Придет весна — вернется Зеленый твой наряд. II

Зимой, в ночи кромешной, Блаженный ручеек, Ты позабыл, конечно, Как летний свод высок. Тебя лучи не греют — В плену хрустальном тлеют, Но сон тебя лелеет, Морозы не томят.

Ш

Ах, если б мы умели
Не помнить о былом!
Но как о днях веселий
Не тосковать потом?
И где найти забвенье,
Печали утоленье,
Хотя бы на мгновенье,
Стихи не говорят.

1817

АПОЛЛОН К ГРАЦИЯМ

Аполлон:

Кто со мной из сестер
Устремится в простор?

Бьют копытами кони на пороге рассвета.
Кто со мной из сестер
Устремится в простор
По полям золотым изобильного Лета?

Грации (все вместе):

Я с тобой, я с тобой!
О позволь, Апполон, мне с тобой улететь —
И с тобою, с тобой
Мир чудесный узреть.
Будем вместе с тобой —
Дивной лиры тугая струна зазвенит.
Будем вместе с тобой —
И наполнится пением чистый зенит.

(Январь 1818)

коту госпожи рейнолдс

Что, котик? Знать, клонится на закат
Звезда твоя? А сколько душ мышиных
Сгубил ты? Сколько совершил бесчинных
Из кухни краж? Зрачков зеленых взгляд
Не потупляй, но расскажи мне, брат,
О юных днях своих, грехах и винах:
О драках, о расколотых кувшинах,
Как ты рыбачил, как таскал цыплят.
Гляди бодрей! Чего там не бывало!
Пускай дышать от астмы тяжело,
Пусть колотушек много перепало,
Но шерсть твоя мягка, всему назло,
Как прежде на ограде, где мерцало
Под лунным светом битое стекло.

16 января 1818

ПРИ ВИДЕ ЛОКОНА ВОЛОС МИЛЬТОНА

Властитель числ органа,
Певец надмирных сфер!
Нам дух твой невозбранно
Являет меру мер
И всех начал начало.
Но лишь глупцу пристало
Твой славить прах
гщась почтить возвышенный твой г

И, тщась почтить возвышенный твой гений, Пытаться гимн для скорбных песнопений Сложить в стихах.

Ты пел для духов рая, Мелодий храм живой. Разлада не скрывая, Восторг дарил нам свой И крылья вдохновенья. О, где твои владенья? Внемли моей Делийской клятве,— я клянусь тобою, Твореньями твоими и судьбою, Твоей любовью в облике земном, Той красотой, что всюду и во всем! Когда мой стих от власти Незрелых форм уйдет,— Я, верный прежней страсти, Уже седой, из од,

Из гимнов сплавлю Слово Во славу и трудов твоих и дел. Но как бы я желаньем ни горел, Напрасно все, пока я не созрел

Для древней мудрости суровой, Не испытал восторг перед лучами новой. На годы воздержусь от приношений, Но запою — и вспомню все сполна. Я лишь простой вассал твоих свершений, Мой лоб горяч, и кровь возбуждена.

О, этот локон твой! Я онемел сначала.

Когда вдруг имя «Мильтон» прозвучало Так близко предо мной.

Но кровь моя тогда не волновалась, И все ж виденье в памяти осталось.

21 января 1818

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕЧИТАТЬ «КОРОЛЯ ЛИРА»

О Лютня, что покой на сердце льет!
Умолкни, скройся, дивная Сирена!
Холодный Ветер вырвался из плена,
Рванул листы, захлопнул переплет.
Теперь — прощай! Опять меня зовет
Боренье Рока с Перстью вдохновенной;
Дай мне сгореть, дай мне вкусить смиренно
Сей горько-сладостный Шекспиров плод.
О Вождь поэтов! И гонцы небес,
Вы, тучи вещие над Альбионом!
Когда пройду я этот грозный Лес,
Не дайте мне блуждать в мечтанье сонном;

Пускай, когда душа моя сгорит, Воспряну Фениксом и улечу в зенит! 22 января 1818

* * *

Когда страшусь, что смерть прервет мой труд,
И выроню перо я поневоле,
И в житницы томов не соберут
Зерно, жнецом рассыпанное в поле,
Когда я вижу ночи звездный лик
И оттого в отчаянье немею,
Что символов огромных не постиг
И никогда постигнуть не сумею,
И чувствую, что, созданный на час,
Расстанусь и с тобою, незабвенной,
Что власть любви уже не свяжет нас,—
Тогда один на берегу вселенной
Стою, стою и думаю — и вновь
В Ничто уходят Слава и Любовь.

Конец января 1818

О, не красней так, о, не красней!

Иль тебя искушенной сочту я.

Если ты улыбнешься — и румянцем зальешься,

Не поверю в невинность святую.

Есть краска стыда для «нет, никогда!» И есть для «скажите на милость», Есть для помышленья и есть для сомненья — И для «как же это случилось?»

О, не вздыхай так, о, не вздыхай, Вспоминая о Еве румяной! Ты губами впивалась в нежную алость И кусала ее неустанно. Давай же опять станем яблоки рвать — И весне от нас не умчаться! Наступил как раз тот блаженный час, Чтобы вволю нацеловаться.

Вздыхают «о да!», вздыхают «о нет!» — И вздыхают, роняя слезинки... Но не лучше ли нам райский плод пополам Разрезать до сердцевинки?

31 января 1818



РОБИН ГУД

Другу

Нет! Навек прошли те дни: Стары, в седине они. Много дней, часов, минут Обрело себе приют Под опавшею листвой. Часто, часто ветра вой Слал метелям зимний зов На пиры во тьме лесов. ...Раньше не было невзгод, И аренд не знал народ.

Нет, не слышен больше рог, Луком не звенит стрелок. Не трубит рожок впотьмах Ни в степи, ни на холмах, И в лесу не слышно смеха: Не повергнет больше эхо Нынче путника в испуг Шуткой, в чаще слышной вдруг.

В дни июня даль ясна, В путь: хоть солнце и луна Или светлых семь Плеяд Свет в пути тебе струят, Робин Гуд, мне поверь, Не увидишь ты теперь, По пустой баклаге счет Уж никто не отобьет, Напевая песнь ловцов, Этим скоротать готов Путь к веселости своей Возле Трента, средь полей... Навсегда ушли отсель Песня, шутка, пряный эль...

Нет веселых плясок ныне, Смолкла песнь о Гамелине. Где разбойник удалой, Скрытый в зелени пустой? Век былой прошел, пропал... Если б нынче Робин встал Из могилы средь полян, Если б дева Мариан Снова в этот лес пришла, Явь бы их с ума свела: Повалил дубы с тех пор Корабельщика топор, И в волнах гниют они. Пчелы смолкли в наши дни, Нынче — странно! — даже мед Всяк за деньги лишь возьмет!

Будем петь мы все равно:
Славься Линкольна сукно!
Слава старой тетиве!
Слава плещущей листве!
Славься, старый громкий рог!
Славься, сметливый стрелок!
Славься, Дюжий Малый Джон,
Конь твой также восхвален!
Славься, храбрый Робин Гуд,
Что в лесу нашел приют!
Славься, дева Мариан!
Славься, весь разбойный клан!
Пусть прошли те дни — вдвоем
Песню мы с тобой споем.

Не позднее 3 февраля 1818

СТРОКИ О ТРАКТИРЕ «ДЕВА МОРЯ»

Души бардов, ныне сущих В горних долах, в райских кущах! Разве этот лучший мир Лучше, чем у нас трактир «Дева Моря», где по-царски Угостят тебя канарским,

Где оленина всегда Слаще райского плода? Наслаждались этим чудом Марианна с Робин Гудом, Как, бывало, в оны дни Пировали здесь они!

Слышал я, что было дело: С крыши вывеска слетела, Поднялась на небосвод, И под нею звездочет Вдруг увидел вас, веселых, За столом и в ореолах, Осушающих до дна Бочку доброго вина, Возносящих к небу чаши В честь Созвездья Девы Нашей!

Души бардов, ныне сущих В горных долах, в райских кущах! Разве этот лучший мир Лучше, чем у нас трактир?

Не позднее 3 февраля 1818

К ДАМЕ, КОТОРУЮ АВТОР ВИДЕЛ ОДНАЖДЫ В ВОКСХОЛЛЕ

Пять лет о берег бил прибой времен, И под приливом двигались пески С тех пор, как я тобою был пленен, Когда перчатку ты сняла с руки. Увижу я полночный небосвод — И взора твоего звезда горит,

Увижу я, как роза расцветет, — И вспоминаю цвет твоих ланит, Увижу я бутон — и слух готов К устам твоим лететь на зов мечты, И ожидать любовных нежных слов, И жить обманом... Затмеваешь ты Воспоминанием восторг любой И отравляешь радости тоской.

4 февраля 1818



к нилу

Сын старых африканских лунных гор,
Дом крокодилов, область пирамид!
Мы говорим: ты благ и плодовит,
Но лишь одну пустыню видит взор.
Народов смуглых нянька с давних пор,
Ты благостен? Иль твой обманчив вид
Для тех, кого работа тяготит,
Кто до Каира строй могил простер?
Нет, мрачная догадка не права!
Незнанью чудится пустыни тишь
Во всем чужом. Твоя вода жива,
Как наши реки, поишь ты камыш,
И так же омываешь острова,

И к морю так же весело спешишь.

⁴ февраля 1818

к спенсеру

О Спенсер! Обожатель твой, лесник,
Пройдя твой лес, вчера с улыбкой милой
Просил, чтоб я, твоей подвигнут силой,
Впредь очищал английский мой язык.
Сказитель эльфов! Кто ж из нас достиг —
Из нас, живущих средь зимы постылой,
Таких высот, как Феб золотокрылый,
Чтоб разливать веселье утра вмиг?
Кто может без упорного труда
Живить, как ты, свои произведенья?
Цветок из почвы долго пьет всегда,
Пока придет пора его цветенья.
Явись весной: из кожи буду лезть,
Ему на радость, а тебе на честь.

5 февраля 1818

ОТВЕТ НА СОНЕТ, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ СТРОКАМИ ДЖ. Г. РЕЙНОЛДСА:

«...Дороже темный цвет В глазах, чем слабый отблеск гиацинта».

Голубизна! Ты — жизнь небес: простор Для Цинтии, дворец бескрайний Феба, Для Веспера со свитою шатер, Хранительница туч, пестрящих небо. Голубизна! Ты — жизнь всесветных вод: Ни океан, кипя взъяренной пеной, Ни реки, сокрушающие лед, Не затемняют сути неизменной.

Голубизна! Ты родственна лесам,
С нежнейшей зеленью обручена ты:
Синеет незабудка, а вон там —
Фиалка притаилась... Как сильна ты,
Чуть проглянув! Но власть твоя стократ
Сильней. когда тобой сияет взглял!

8 февраля 1818



О ЧЕМ ГОВОРИЛ ДРОЗД

Строчки из письма к Джону Гамильтону Рейнолдсу

Ты — тот, кто ветру подставлял лицо,
 Кто видел в дымке тучи обложные
 И вязы среди звезд заиндевевших;
 Пожнешь ты жатву — лишь весна придет,
 Ты — тот, кому казался книгой свет

Ты — тот, кому казался книгой свет Кромешной мглы, которая питает Тебя всю ночь, до появленья Феба; Тебе весна сторицею воздаст.

О знаньях не пекись — и будь как я: Ведь песенке моей неведом холод.

О знаньях не пекись — и будь как я: Мне внемлет Вечер. Тот, кто загрустил При слове «праздность», — праздным быть не может. Лишь наяву ты думаешь, что спишь.

19 февраля 1818

наброски для оперы

I

Будь я причтенным к божествам Олимпа, Всевышнюю я утвердил бы волю: Когда влюбленный устремится следом За красотою, вдалеке сокрытой, Пусть с каждым мигом облик совершенный Становится нежнее и прекрасней; От диких ягод, сорванных поспешно, Пусть зреет поцелуй на древе страсти И соком сладким наполняет плод, Чтоб на устах паломника истаять.



П

ПЕСНЯ МАРГАРИТКИ

Велик у солнца глаз — Я зорче во сто раз. Не подглядеть луне Того, что видно мне.

Опять весна, весна! Я радости полна: В густой траве таюсь, К красавицам тянусь.

Я подмечаю то, Чего не смел никто,— И колокольцев звон Баюкает мой сон.



Ш

песня дурости

Пусть пережарен поросенок,
А Дурости — ура!
Пусть ломтик сыра слишком тонок,
А Дурости — ура!
Сэр Чих беседует с юристом,
А Дурости — ура!
Мисс Кусь в обнимку с трубочистом,
А Дурости — ура!

IV

О, как истерзан я тревогой мрачной! Быть может, зубы у нее — не жемчуг, А голос не похож на соловьиный; Ресницы же (сомненье сердце гложет) Едва ль длиннее усиков осиных; Нет ни единой ямочки на щечках — Одни веснушки... Боже, если нянька До времени дитя ходить учила — Дианы ноги сделались кривыми, И покосилась царственная шея.

v

Нежданный гость, сойдя с коня, Ни слова не сказал: Он только руку госпоже Тайком поцеловал. Нежданный гость, вступая в дом, Ни слова не сказал: Он прямо в губы госпожу Тайком поцеловал.

В цветник, что господин взрастил, За госпожой вослед Нежданный гость вошел тайком, Тайком ушел чуть свет.

Служанке он, вскочив в седло, Кольцо украдкой дал — И, наклонившись, горячо Ее поцеловал.

VI

Уснула! Спи, о спи, мой перл бесценный! И дай склониться пред тобой с молитвой, И дай призвать небес благословенье Неслышное на твой покой счастливый, Дай прошептать о верности безмерной, О преданном, внезапном обожанье — Сокровище мое, любовь моя!

Февраль 1818

Четыре разных времени в году. Четыре их и у тебя, душа. Весной мы пьем беспечно, на ходу Прекрасное из полного ковша. Смакуя летом этот вешний мед,
Душа летает, крылья распустив.
А осенью от бурь и непогод
Она в укромный прячется залив.
Теперь она довольствуется тем,
Что сквозь туман глядит на ход вещей.
Пусть жизнь идет неслышная совсем,
Как у порога льющийся ручей.
Потом — зима. Безлика и мертва.
Что делаты Жизнь людская такова.

Между 7 и 13 марта 1818

строки из письма

Здесь незаметно бегут вечера. Налево гора, Направо гора, Река и речной песок. Можно сесть И со сливками съесть Теплого хлеба кусок.

Один ручей И другой ручей Вращают колеса храбро. В ручье лосось, Чем пришлось, Откармливает жабры.

Здесь дикий бор И великий простор Для охоты, пастьбы и порубки; И у всех дорог Золотистый дрок Цепляется за юбки.

Бор высок, В бору голосок Нежно зовет кого-то; А в поздний час Веселье и пляс На ровном лужке у болота.

Куда ни взгляни, Кусты да плетни, Дроздам неплохая квартира. Осиный дом — В обрыве крутом, Чтоб не было слишком сыро.

Ах и ах!
Маргаритки во рвах!
Примул раскрылись кубки!
Тронешь бутон,
И навстречу он
Протягивает губки.

Я даром отдам Всех лондонских дам И критиков сморчков, Чтобы на лугу Валяться в стогу И вспугивать пестрых сверчков.

Не позднее 21 марта 1818

ДЕВЧОНКА ИЗ ДЕВОНА

Девчонка из Девона, чем у тебя Набита ручная плетенка? Видать, со сметаны так щеки румяны, Не дашь ли сметаны, девчонка?

Люблю я твой мед и цветы на лугах И очень люблю твое масло, Но больше, признаться, люблю целоваться,— О только не дуйся напрасно!

Мне сладки и долы твои, и холмы, И овцы кудрявые в долах, Но сладкого слаще средь вереска в чаще Валяться на травах медовых.

Так что же? Повесим на иву платок, А рядом поставим корзинку И ляжем в теплыни на зыбкой перине Среди незабудок в обнимку.

Не позднее 21 марта 1818

джону гамильтону рейнолдсу

Мой милый Рейнолдс! Вечером, в постели, Когда я засыпал, ко мне слетели Воспоминанья: дикий, странный рой Порой смешных, пугающих порой Видений,— все, что несоединимо: Взгляд ведьмы над устами херувима; Вольтер в броне и шлеме, со щитом;

Царь Александр в колпаке ночном; У зеркала Сократ в подтяжках длинных; И Хэзлитт у мисс Эджворт на крестинах; И Юний Брут, под мухою чуть-чуть, Уверенно держащий в Сохо путь.

Кто избежал подобных встреч? Возможно, Какой-нибудь счастливец бестревожный, Кому в окно не всовывался бес И в спальню хвост русалочий не лез: Кому мерещатся повсюду арфы Эоловы, венки, букеты, шарфы И прочие отрадные тона. Но жизнь грубей — и требует она Все новых жертв; взлетает нож, как птица, В руке жреца, и белая телица Мычит, изнемогая от тоски; И, заглушая все, визжат рожки, Творятся возлиянья торопливо; Из-за зеленых гор на гладь залива Выходит белый парус; мореход Бросает якорь в лоно светлых вод, И гимн плывет над морем и над сушей...

Теперь о чудном Острове послушай! Там Замок Очарованный стоит, До половины стен листвою скрыт, Еще дрожащей от меча Урганды... О, если б Феба точные команды Тот Замок описать мне помогли И друга средь недуга развлекли!

Он может показаться чем угодно — Жилищем Мерлина, скалой бесплодной Иль призраком; взгляни на островки Озерные — и эти ручейки Проворные, что кажутся живыми, К любви и ненависти не глухими,— И гору, что похожа на курган, Где спящий похоронен великан.

Часть Замка, вместе с Троном чародейским, Построена была Волхвом халдейским; Другая часть — спустя две тыщи лет — Бароном, исполняющим обет; Одна из башен — кающейся тяжко Лапландской Ведьмой, ставшею монашкой; И много здесь неназванных частей, Построенных под стоны всех чертей.

И кажется, что двери замка сами Умеют растворяться пред гостями; Что створки ставен и замки дверей Знакомы с пальчиками нежных фей; А окна светятся голубовато, Как будто край небес после заката Иль взор завороженных женских глаз, Когда звучит о старине рассказ.

Гляны из туманной дали вырастая, Плывет сюда галера золотая! Три ряда весел, поднимаясь в ряд, Ее бесшумно к берегу стремят; Вот в тень скалы она вошла — и скрылась; Труба пропела, — эхо прокатилось Над Озером; испуганный пастух, Забыв овец, помчался во весь дух В деревню; но рассказ его о «чарах» Не поразил ни молодых, ни старых.

О, если бы всегда брада мечта У солниа заходящего цвета, Заката краски, яркие как пламя! — Чтоб день души не омрачать тенями Ночей бесплодных. В этот мир борьбой Мы призваны: но. впрочем, вымпел мой Не плешется на адмиральском штоке. И не даю я мудрости уроки. Высокий смысл, любовь к добру и злу Да не вменят вовек ни в похвалу, Ни в порицанье мне; не в нашей власти Суть мира изменить хотя б отчасти. Но мысль об этом мучит все равно. Ужель воображенью суждено, Стремясь из тесных рамок, очутиться В чистилище слепом, где век томиться — И правды не добиться? Есть изъян Во всяком счастье: мыслы! Она в туман Полуденное солнце облекает И пенье соловья нам отравляет.

Мой милый Рейнолдс! Я бы рассказал О повести, что я вчера читал На Устричной скале, — да не читалось! Был тихий вечер, море колыхалось Успокоительною пеленой, Обведено серебряной каймой По берегу; на спинах волн зеленых Всплывали стебли водорослей сонных; Мне было и отрадно, и легко; Но я вгляделся слишком глубоко В пучину океана мирового, Где каждый жаждет проглотить другого, Где правят сила, голод и испуг;

И предо мною обнажился вдруг Закон уничтоженья беспошадный. — И стало далеко не так отрадно. И тем же самым мысли заняты Сегодня. — хоть весениие цветы Я собирал и листья земляники.-Но все Закон мне представлялся дикий: Над жертвой Волк, с добычею Сова, Малиновка, с остервененьем льва Когтящая червя... Прочь, мрак угрюмый! Чужие мысли, черт бы их побрал! Я бы охотно колоколом стал Миссионерской церкви на Камчатке. Чтоб эту мерзость подавить в зачатке! Так будь же здрав. — и Том да будет здрав! — Я в пляс пущусь, тоску пинком прогнав. Но сотня строк — порядочная доза Для скверных виршей, так что «дальше — проза»...

25 марта 1818

Через холмы, через ручей, Лугом — на ярмарку в Долиш: Отведать коврижек и калачей И так поглазеть — всего лишы

Шалунье Бетти я предложил (Трепал ее юбки ветер): «Я буду твой Джек, а ты — моя Джил»,— И села со мною Бетти.

«Кто-то идет! Кто-то идет!..» — «Ах, Бетти, это лишь ветер!» И без лишних слов, без дальних забот На спинку упала Бетти.

«Ах, погоди! Ах, погляди!..» — «Прикуси язычок, малышка!» И смолкла она, внезапно хмельна, Свеженькая, как пышка.

Ну как по пути не потерять С нею часок короткий? Как на лугу цветов не примять Ради такой красотки?

26 марта 1818

к дж. Р.

О, будь неделя веком — и тогда
На сотни лет год растянуться б мог;
Разлук, свиданий шла бы череда,
Румянец встречи не сходил со щек.
За миг мы вечность прожили б с тобой,
В одно биенье наши слив сердца:
Безмерным стал бы краткий путь дневной,
Чтоб наше счастье длилось без конца.
О, мчаться в среду к Индским берегам,
В четверг Левант роскошный навестить!
Исчезло б время: удалось бы нам
В мгновении все радости вместить.
Как исполняются мечты, мой друг,
Вчера — вдвоем с тобой — узнал я вдруг.

18-20 апреля 1818



ИЗАБЕЛЛА, ИЛИ ГОРШОК С БАЗИЛИКОМ

история из боккаччо

I

Прекрасная, младая Изабелла!
Лоренцо, восхищенный пилигрим!
Она душою нежною робела,

За общей трапезой встречаясь с ним, И юноша тянулся к ней несмело,

Ее блаженной близостью томим, — И по ночам вздыхал и плакал каждый, Обуреваемый любовной жаждой.

2

Так под единой крышей много дней Любовь была и горем, и отрадой; Он ежечасно думал лишь о ней,

В дому, в лесу или под сенью сада,— Ей голос юноши звучал нежней,

Чем шум листвы, чем рокот водопада,— И, образом его увлечена, Не раз губила вышивку она. Томясь в своем покое одиноком,
Он знал: она недалеко сейчас;
И проникал он соколиным оком
В ее окно, и видел каждый раз:
По вечерам, в смирении глубоком,
Молясь, она не опускает глаз,
А ночью слышать жаждал с нетерпеньем,
Как утром дева сходит по ступеням.

Младая дева мучилась дотоле,
Пока не истощился цвет ланит,—
Так мать, когда дитя кричит от боли,
У колыбели тает и скорбит.
Лоренцо думал: «Я не в силах боле
Смотреть на муки. Сердце мне велит:
Я ей мою любовь открыть посмею,
Хоть для того, чтоб плакать вместе с нею».

Так он однажды утром возгласил.

Но сердце было выпрыгнуть готово От робости; недоставало сил;

Сердечный жар не дал сказать ни слова И всю его решимость погасил, —

А мысль к невесте устремлялась снова. Кто любит, тот в один и тот же миг Бывает столь же кроток, сколь и дик.

7

Еще одна бы ночь над ним висела,

Тоскою и любовью тяжела, — Когда бы не младая Изабелла,

Взор не сводившая с его чела, — Что в это утро смертно побледнело.

Она решилась и произнесла: «Лоренцо!..» — и умолкла столь же скоро, Все досказав одним сияньем взора.

8

«О Изабелла, я могу едва

Решиться молвить о моей кручине; Люблю тебя, поверь в мои слова,

Как веришь избранной тобой святыне; От мук душа моя почти мертва, —

Я не посмел бы говорить и ныне, Но дольше не могу прожить и дня, В груди любовь безмолвно хороня. Любовь моя! Зима уйдет, бушуя, С тобой весна, лучиста и чиста, Коснуться ныне алых роз хочу я, Бутонов, где таится теплота». И вот — сомкнулись рифмой поцелуя С устами девушки его уста; И, как росток под нежной лаской лета, Блаженство их вступило в час рассвета:

10

Они расстались, будто два цветка, Несомые волнами аромата, — Но встреча вновь была уже близка, Девица пела, радостью объята, Хваля стрелу умелого стрелка, А юноша стоял в лучах заката, Следил, как солнце падало во тьму, И радовался чувству своему.

11

И вновь сошлись они при первых звездах,
Взошедших на хрустальный свод небес,
И много раз встречались так при звездах,
Взошедших на хрустальный свод небес,
В беседке, где дышал цветами воздух,

Укрытые от суетных словес, — Как жаль, что все изменится, что вскоре Пойдет молва об их великом горе.



12

Нет, им печали не было дано.

Как много слез излито за влюбленных, Как много скорби с ними заодно,

Как много воздыханий похоронных, — Как много повестей сочинено,

Во злато и сафьян переплетенных; Лишь ту восторгом встретить не могу, Где Ариадна ждет на берегу.

13

Хотя в любви — от горечи великой Лекарство в малой сладости найдешь, — Дидона тенью странствует безликой,

И нашей деве счастья не вернешь; Ее жених индийскою гвоздикой По смерти не был умащен, — так что ж, — Известно даже пчелам, что недаром Отравленный цветок манит нектаром.

14

В дому у братьев девушка жила.

Неисчислимы были их доходы
От шахт и фабрик, где царила мгла, —
Где освещались факелами своды,
Где под кнутами корчились тела
Невольников, не ведавших свободы, И люди, коченея, день-деньской
Песок перемывали золотой.

15

Для них ловец жемчужин на Цейлоне
Нырял, чтобы не вынырнуть потом;
Для них, припав ко льду в предсмертном стоне,
Лежал тюлень, пронзенный гарпуном;
Для них вершились травли и погони;
И меж людей, задавленных трудом,
Два брата — бережливы, терпеливы —
Вращали ловко жернова наживы.

16

А чем гордиться? Тем ли, что фонтан Не столь плаксив, как нищего гримаса? А чем гордиться? Тем ли, что тимьян Благоуханней, чем гнилое мясо? А чем гордиться? Тем ли, что карман Набит не хуже, чем казна Мидаса? А чем гордиться? Пусть ответ дадут: Во имя правды, чем гордиться тут?



17

Так жили оба, жизнь свою запрятав Подалее от взоров бедняка, В наживе достигая результатов, Как два еврея, два ростовщика, Два мытаря, два мула для дукатов, Два ястреба, два жадных паука, Искусно изучившие наречья Иберии, Тосканы, Междуречья.

18

Но как смогли исчадия контор
Проведать, что в душе таит девица?
Как уследить сумел их жадный взор,
К какой наживе юноша стремится?
О, лучше б их сразил библейский мор!
Но братьям не случилось ошибиться:
Пусть каждый, кто огнем любви объят,
Как заяц на бегу, глядит назад.

Боккаччо, сочинитель превосходный,
Прошу прощенья за свою вину,
У рощ твоих, у нивы многоплодной,
У роз твоих, что влюблены в луну,
У мирты, у лилеи благородной,
Что никнет у мелодии в плену, —
Простите, что в печальный тон рассказа
Закралась дерэкая, чужая фраза.

20

Прости меня, Боккаччо, и тогда
Рассказ пойдет спокойно, как пристало;
Прости, на строки этого труда
Взирая благосклонно с пъедестала;
Ты в рифмы облачен — и не беда,
Что проза старая поэмой стала,
Что ты стихом английским зазвучал,
Что ветер севера тебя помчал.

21

Проведали злокозненные братья,
Что их сестра и юноша младой
Друг другу дарят вздохи и объятья, —
Хозяева, забывшие покой,
Лоренцо слали тайные проклятья, —
Слуге остаться надлежит слугой! —
Для братьев было выгодней и проще
Отдать сестру за фабрики и рощи.

22 '

Не раз кусали губы два дельца
И меж собою совещались много,
Каким путем остановить юнца, —
И вот, обдумав все и взвесив строго,
Искоренили жалость до конца,
Под планом подведя черту итога, —
Решенье братьев было таково:
Убить Лоренцо и зарыть его.

23

Однажды юноша пред балюстрадой Стоял, встречая солнечный восход, Не зная, что по свежим росам сада К нему спешат хозяева, — и вот Услышал он: «Хотя нежна прохлада, Лоренцо, но, однако, труд не ждет: Садись в седло, послушайся совета, Сколь ни приятен тихий час рассвета,

24

Сегодня мы намерены с утра

Скакать по направленью к Апеннинам,
Покуда солнцу не придет пора
В ветвях шиповника пылать рубином».
Не зная, что за страшная игра
Ведется ими с юношей невинным,
Склонил Лоренцо свой покорный взгляд
И поспешил к себе сменить наряд.

Войдя во двор, приблизясь к окнам дома, Он часто замирал, едва дыша: Быть может, ранней свежестью влекома, Она окно откроет не спеша, — И трелью смеха, музыкой знакомой Он был вознагражден: его душа Возликовала: за резной решеткой Сверкнула дева красотою кроткой.

26

«Любимая! Сколь щедры небеса,
 Что вижу я тебя, — сказал он нежно, —
Бессильны все земные словеса
 Поведать, как печаль моя безбрежна:
Простись со мной на целых три часа —
 Но встреча наша будет безмятежна!» —
«До встречи, милый!» — прозвучал ответ,
И песнь летела юноше вослед.

27

Все трое ехали туда, где Арно
Средь камышей танцующих течет,
Где солнца луч трепещет светозарно
И плещется форель на глади вод, —
Следя за жертвой зорко и коварно,
Злодеи-братья отыскали брод
И с юношей — ошую, одесную —
Вступили братья в гущину лесную.

Там был убит Лоренцо и зарыт.

Любовь его нашла конец в могиле — Душа свободна, но она болит.

Преступники мечи в реке омыли; Принявши сытый и довольный вид.

Как гончие, что зверя затравили, И бодро, в первый раз за много дней, Они домой направили коней.

29

Они сестре истолковали вскоре Столь непонятный юноши отъезд: По их делам уехал он за море

И не пришлет вестей из дальних мест. Узнай, о дева, что такое горе,

И мужественна будь, неся свой крест; Отныне вдовий час все безнадежней, И каждый день — печальнее, чем прежний.

30

Так первый день проплакала она, Вкушая горечь и тоску разлуки, Поняв, что ночь любви не суждена; Молчание удваивало муки, И, вглядываясь в темноту, одна, Прекрасные заламывая руки, Стонала дева о своей беде И тихо призывала: «Где ты, где?» Но час печали по себе не долог, — Над ней иные думы взяли власть, Пропал последний горести осколок, В терпение настало время впасть, Над ней простерло ожиданье полог, В ее душе не угасала страсть, И мучили великие тревоги О юноше, томившемся в дороге.

32

В дни осени, когда багряный цвет
Сменяют дерева на темно-серый
И ветры свой смертельный менуэт
Играют нежно на ветвях шпалеры,
Чтоб каждый ствол был донага раздет,
Пока зима не вышла из пещеры, —
Теряла Изабелла красоту,
И было ждать уже невмоготу.

33

Лоренцо не вернулся к ней. С истомой Она к убийцам обращала взор — Зачем так долго друг вдали от дома? Ей сообщали братья разный вздор, Но преступленье, словно дым Еннома, Терзало их, и по ночам с тех пор Они стонали, видя сон фатальный: Свою сестру в одежде погребальной.

И так бы завершились дни ее,
Но нечто, черным ужасом чревато,
Разрушило внезапно забытье, —
Так смерть от яда — быстрая оплата
Испившему; так острое копье
Того, кто принял дозу опиата,
Внезапно отвращает от мечты
К мирским страданьям, в гущу суеты.

35

То призрак был. В ногах ее постели Возник Лоренцо в тишине ночной: Он горько плакал; кудри потускнели, Иссушены гробницею лесной, И голос, что звучал нежней свирели, Проникнулся тоскою ледяной, — Могила угасила взор невинный И ущи грязной залепила глиной.

36

Он говорил, и речь его текла
Печально, странно, будто панихида, —
Была мучительна и тяжела
Его мольба из глубины Аида, —
Она, казалось, рождена была
Надтреснутою арфою друида:
Звучал во мраке призрачный напев,
Как ветер меж кладбищенских дерев.

«О, Изабелла, — прошептала тень, — Я сплю в земле; лесная даль туманна, Лежит в изножье у меня кремень, Шуршат колючие плоды каштана, Могилу осыпая; каждый день За речкой овцы блеют утром рано — Приди, слезу на вереск урони, Утешь мои мучительные дни!

Я — призрак! Я навеки обездолен,
Я мессу в одиночестве пою
И звуки жизни слышать приневолен
У бытия земного на краю:
Гуденье пчел и звоны колоколен
Безмерной болью ранят грудь мою, —
Я сплю, печаль великую скрывая,
И ты чужда мне тем, что ты — живая.



Когда бы призрак мог сойти с ума, Я обезумел бы неотвратимо: Мне в памяти не отказала тьма, Но вижу — ты печалями томима, И оттого теплей моя тюрьма, Как если б я любовью серафима Владел; я счастлив красотой твоей, Я мертв, но я люблю еще сильней».

41

Дух прорыдал: «Прощай!» — и сгинул в бездне, Оставя темноту искриться. Так, В полночный час раздумья и болезни, Нас угнетает каждый прошлый шаг И больше прочих — труд, что бесполезней Всех дел земных, и мы глядим во мрак И видим искры тлеющие эти. Очнулась дева только на рассвете.

«Увы! — она сказала. — Эта ложь

Была прикрытьем нашему несчастью — Я думала, от рока не уйдешь,

Сама судьба нас наделила страстью, — Но вижу я кровавый братнин нож!

О Призрак милый! Ты нездешней властью Отверз мне очи: я приду к тебе, И да внимает Бог моей мольбе!»

43

Уж рассвело, и дева осторожно
Придумала, как братьев обмануть,
Добраться до чащобы и, возможно,
Найти к могиле драгоценный путь, —
И если впрямь видение неложно,
Излить всю скорбь любимому на грудь.
И в лес, когда решение созрело,
Пошла со старой нянькой Изабелла.



Они спустились медленно к реке, И дева здесь кормилице украдкой, Завидевши опушку вдалеке,

Шепнула что-то. «Что за лихорадка Томит тебя, дитя, зачем в руке

Ты держишь нож?» — и страшная разгадка Нашлась, когда к концу склонился день: Могила под каштаном и кремень.

45

Кому не доводилось на кладбище, Бродя в тиши, которой равных нет, Сквозь почву видеть гробовое днище, Истлевший саван, череп и скелет, Вселяя душу мысленно в жилище, Пустующее столько долгих лет?

Пустующее столько долгих лет?

Ах! В этих чувствах скорби слишком мало В сравненье с тем, что дева испытала.

46

Взор Изабеллы проникал до дна
Сквозь комья почвы, вплоть до сердцевины,
Ей раскрывала тайну глубина
Яснее, чем хрусталь речной стремнины.
Так над могилой высилась она
Подобно лилии лесной долины
Но стала вдруг со страстию былой

Копать ножом земли присохший слой.

Над вышитой перчаткою Лоренцо
Пришлось ей вскоре тягостно вздохнуть;
Несчастная, бледнее полотенца,
Перчатку эту спрятала на грудь,
Что предназначена кормить младенца, —
Но тут же, не замешкавшись ничуть,
Продолжила работу Изабелла —
Лишь локон поправляла то и дело.

48

Кормилица, печальна и седа,
Дивилась отыскавшейся могиле
И помогала девушке. Тогда,
Усталые от тягостных усилий,
По завершеные трех часов труда
Они в земле холодный труп отрыли, —
А в небесах уже сгустилась мгла, —
Но стойко дева все перенесла.

49

Ах, для чего описывать пространно
Ту плоть, что тлела в глубине сырой?
О, ради чести старого романа
И наслажденья чистою игрой!..
Что ж, если для тебя, читатель, странно
Внимать поэме — ты ее закрой,
Поскольку ожидать смешно и дико,
Что в ней сокрыта сладкая музыка.

Не вспоминать бы, как Персеев меч
От тела отчленил главу Горгоны!..
О нет, — они отважились отсечь
Главу Лоренцо. Древние законы
Гласят: любовь ни потопить, ни сжечь;
В печали дева сдерживала стоны,
К любви своей с лобзанием припав —
Звала любовь, любовью смерть поправ.

51

Вернувшись, утая приметы клади,
Омыла девушка ручьями слез
Главу Лоренцо; расчесала пряди
В земле давно слежавшихся волос,
Освободила, с нежностью во взгляде,
От глины липкой уши, рот и нос,
Разгладила прекрасные ресницы
И горестно рыдала до денницы.

52

А ранним утром голову в платке,
 Что был напитан смолами Востока,
Возогнанными на змеевике
 И в темноте хранимыми до срока, —
Она в цветочном глиняном горшке
 Ту голову запрятала глубоко
И, слез не укрощая ни на миг,
В ту землю посадила базилик.

И позабыла голоса природы,
И позабыла чисел имена,
И позабыла пажити и воды —
И позабыла, как шумит весна, —
Не зная, дни проходят или годы,
Она всегда сидела у окна
И плакала над милым базиликом,
Навеки в горе затворясь великом.



54

Вспоен слезами, рос чудесный куст,

Служа бальзамом наболевшей ране, —
Он становился и высок и густ,

Как ни один подобный куст в Тоскане,
Корнями восходя из мертвых уст,

Ланит, очей, — и то, что было ране
Истлевшей отсеченною главой,
Взрастало благовонною листвой.

О Грусть, помедли, я молю — ни шага! О Музыка, печалью прозвучи! О Эхо, долети с архипелага В летейских водах, — о, не умолчи! О Скорби дух, над камнем саркофага С усмешкой лей сребристые лучи, Рассеивая сумрак живописный Над мраморами в роще кипарисной.

56

Стенайте, ямбы горя и тоски,

Служители печальной Мельпомены!

Коснитесь струн в мистерии строки

В трагическом распеве кантилены,

Пусть звуки будут скорбны, глубоки —

Увы, несет нам ветер перемены:

Исчахнуть дева вскорости должна,

Как пальма, что ножом надсечена.

57

Оставьте пальму, чтоб она увяла Сама собой, не приближайте час!.. Нет, так нельзя: служители Ваала Приметили — в потоке слез погас Взор девы; это многих удивляло Средь родичей ее уже не раз: Ведь, пожелай, она была бы скоро Невестою богатого сеньора.

Дивило братьев более всего,
Зачем она проводит дни, лаская
Цветок, — и с ним творится волшебство:
Он оживает, листья распуская;
И были в толк не в силах взять того,
Как отвлекла безделица такая
Сестру от всяких помыслов о том,
Что юноша не воротился в дом.

59

Как вышло это, как могло случиться?

И братья долго были начеку:
Порой сестра ходила причаститься,
Но тотчас же, к любимому цветку,
Назад спешила в свой покой девица,
Как мать спешит к недужному сынку,
Садилась, как наседка, терпеливо
И снова плакала без перерыва.

60

И все же был украден базилик,
Им удалась преступная затея —
Сколь ни был мерзок им представший лик,
Но юношу узнали два злодея, —
Открыв секрет, они в единый миг,
От ужаса назад взглянуть не смея,
Бежали, не оставив ни следа,
Из города неведомо куда.

О Грусть, молю, не говори ни слова, О Музыка, надеждой не звучи, О Эхо, Эхо, долети к нам снова Из Леты черной, — о, не умолчи! О Скорби дух, не береди былого — Ведь Изабелла брошена в ночи: Она угаснет в непомерной муке, С возлюбленным цветком навек в разлуке.



62

Отныне деве не было утех,
Все поиски остались бесполезны,
Стал взор ее безумен, жалок смех,
Вопросы тщетны и моленья слезны;
Она старалась разузнать у всех,
Где спрятан базилик ее любезный,
И все звучал ее печальный клик:
«Верните мне мой нежный базилик!»

63

Она скончалась в одинокой спальне, Похищенный цветок вернуть моля. Со смертью девы сделалась печальней Прекрасная тосканская земля; Судьбу ее и ближний знал и дальний, И до сих пор напев поют поля: «О, сколь жесток в безумии великом Похитивший горшок мой с базиликом!»

Февраль — апрель 1818



ГОМЕРУ

Быть в стороне, как я, — удел невежд.

Но слышу про тебя и про Киклады,
Как домосед, исполненный надежд
Узреть в морях коралловые клады.
Да, ты был слеп, но пелену Зевес
Сорвал, открыв тебе простор небесный.
Пан пеньем пчел звучать заставил лес.

Из пены Посейдон шатер чудесный Тебе соткал. На берег темноты

Свет хлынул, пропасти — травою сочной Оделись, и трояким зреньем ты

Раскрытье утра видел в час полночный. Не так ли Артемиды властный взгляд

Пронзал три царства: небо, землю, ад?

(Апрель 1818)

ОДА МАЙЕ

Фрагмент

О мать Гермеса юная, о Майя!
Восславить ли тебя
Размерами, каким внимала Байя?
Иль, простоту любя,
Ты флейте улыбнешься сицилийской?
Иль склонишь слух к отчизне эолийской
Певцов, на мягком дерне смолкших там,
Где стих великий отдан был немногим?
Даруй ту силу и моим строфам —
И пусть они, торжественны и строги,
В весенней тишине,
Средь приношений раннего цветенья,
Умолкнут в вышине,
Нехитрого вкусив благодаренья.

1 мая 1818

Ласков привет милых глаз, И голоса ласков привет. Забыты в счастливый час Прощанья минувших лет.

К щеке прижата щека, И трепетна встреча рук На земле — той, что так далека И которой неведом плуг.

28 июня 1818



на посещение могилы бернса

Кладбище, крыши, солнечный заход,
Деревья и холмы вокруг — все мнится
Безжизненно-прекрасным, будто снится
Мне давний сон... И снова свет плывет
Июня бледного; растоплен лед
Знобливых зим в сиянии зарницы;
Сквозь твердь-сапфир луч звездный чуть струится;
Все — красота холодная. Лишь тот

И счастлив, кто, как Минос-судия,
Познал суть красоты, свободной вечно
От спеси и фантазии больной,
Ее мертвящих, Бернс! О, как сердечно
Я чту тебя! О тень! Свой лик сокрой:
Несправедлив к твоей отчизне я!

1 июля 1818

мэг меррилиз

Старуха Мэг, цыганка, Жила, не зная бед: Постелью вереск ей служил, А домом — целый свет. Она могла среди болот Легко найти места, Где слаще яблока была Смородина с куста.

Она пила в рассветный час Вино росы с ветвей; Она читала вместо книг Надгробья у церквей.

Холмы ей были братьями, Сестрой родной — сосна. В кругу такой большой семьи Жила она одна.

Пусть было нечего поесть С утра или в обед, Зато в час ужина над ней Струился лунный свет.



Зато венки из таволги Умела делать Мэг И в можжевельниках густых Готовила ночлег.

И руки смуглые ее
В сплетеньях темных жил
Плели циновки из травы
. Для тех, кто в селах жил.

Казалась Мэг царицею, А был на ней надет Из одеяла красный плащ, Соломенный берет.

Да будет мир ее душе — Ее давно уж нет!

3 июля 1818

песенка о себе

I

Жил-был один мальчишка — Такой-сякой пострел! Сидеть спокойно дома Мальчишка не хотел. Взял Дорожный мешок, Уложил

Гребешок, Книжку С разными словами, Две рубашки С рукавами, Кепку — Вместо черпака И ночного колпака, Не забыл И носков Запасных ---Вот каков! Все собрал. **Увязал** И. отчаянно горд, Он потопал прямиком Курсом норд, Курсом норд, Он потопал прямиком Курсом норд!

П

Жил-был один мальчишка,
Такой-сякой пострел!
Весь день стишки свои кропать
Он только и умел.
Он взял
Свой пенал
И чернил
Прихватил
И умчал,
Глотая мили,

В тучах пыли,

Прямо в горы, На просторы, К ручейкам, Облакам. Во владения Привидения И почти что К ведьмам в лапы! --И строчил Что есть сил. — Если жарко, То без шляпы, Если зябко. То в пальто, Но зато Был он горд, Что идет он прямиком Курсом норд, Курсом норд, Что идет он прямиком Курсом норд!

Ш

Жил-был один мальчишка — Вот так он жил да был! Он бабушке в корыто Рыбешек напустил. На запрет Несмотря, Он ни свет Ни заря Поднимался Й пускался

Во всю прыть -Поудить; И домой Поспеша. Нес ерша-Малыша, Окунят, Пескарей И плотвят — Не длинней Маленького Пальчика Маленького Мальчика! Ну и дел Натворил, Ну и кашу Заварил! — Хорошенькую кашу — Учтите. В корыте! -Хорошенькую кашу

IV

Заварил!

Жил-был один мальчишка,
Такой-сякой пострел!
Он побывал в Шотландии
И крепко поумнел:
Он узнал
Наконец,
Что свинец
Там тяжел,

Что осел Там упрям, Что по утрам Солнце всходит, Что морковка В огороде Там красна,



Что луна
Светит в ночь,
Пятью пять
Двадцать пять, —
Все точь-в-точь,
Как и дома!
И стоял он, как чурбан,
И дивился,
И дивился,
Он стоял, как чурбан,

3 июля 1818

[ИЗ ПИСЬМА ТОМАСУ КИТСУ]

Ах, если бы ты только знал, Кого я встретил, Карабкаясь по склонам скал Сквозь дождь и ветер! Я Мэри отгадать прошу, Но по секрету Скажу — пером не опишу Картину эту. Где под скалой бежит ручей, Под мрачной высью, Я вдруг увидел Лошадей. Бежавших рысью. Тогда узнать помчался я Чуть не галопом, Что там за Люди вдоль ручья Гарцуют скопом. Качался первый на седле Кудрявый Вилли, И как пожар на корабле Кудряшки были. Мать Пегги ехала за ним, А следом Пегги И братец Роб — путем одним, В согласном беге. Спасался каждый под плащом, -Лились потоки. Взор Пегги чем-то был смущен, Алели щеки. Она, легко держась верхом, Следила взглядом

За миловидным женихом, Трусившим рядом. Я, видно, ввел родню во гнев,
Раз юный Том
Проехал мимо, покраснев,
С открытым ртом.
Ах, Мэри! Все они домой
Спешили вместе,
Беспечный и счастливый рой,
Под стать невесте.
Им хорошо спешить домой
Хоть в дождь, хоть в слякоть.
У Пегги свадьба, боже мой!
Как мне не плакать?

10-14 июля 1818

СКАЛЕ ЭЙЛСА

Морская пирамида в бликах, в иле!

Когда твой лоб потоками был скрыт?

И что тебе сегодня говорит

Крик яростный птенцов о прежней были?

Как ветры снова путь к тебе открыли?

И сколько времени прошло, как спит
И дышит небом треснувший гранит,

С тех пор как облака тебя увили?

Ответа нет; ведь ты приют дремот;
И жизнь твоя — две вечности: с орлами
Всегда одна, другая — мрака плод.

Вершина в небе, скользкий риф — с китами.
Земной толчок подъял твой торс из вод —

Но скрыт гигантский остов под волнами!

10 июня 1818

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ШОТЛАНДИИ, В ДОМИКЕ РОБЕРТА БЕРНСА

Прожившему так мало бренных лет,
Мне довелось на час занять собою
Часть комнаты, где славы ждал поэт,
Не знавший, чем расплатится с судьбою.
Ячменный сок волнует кровь мою.
Кружится голова моя от хмеля.
Я счастлив, что с великой тенью пью,
Ошеломлен, своей достигнув цели.
И все же, как подарок, мне дано
Твой дом измерить мерными шагами
И вдруг увидеть, приоткрыв окно,
Твой милый мир с холмами и лугами.
Ах, улыбнись! Ведь это же и есть
Земная слава и земная честь!

11 июля 1818

СТРОКИ, НАПИСАННЫЕ В СЕВЕРНОЙ ШОТЛАНДИИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕРЕВНИ БЕРНСА

Как сладко полем проходить, где веет тишиной, Где слава одержала верх в бою за край родной, Иль — вересковой пустошью, где был друидов стан, А нынче мох седой шуршит и царствует бурьян. Все знаменитые места бессчетно тешат нас, О них сказанья повторять мы можем сотни раз, Но сладостней отрады нет, неведомой дотоль, Чем иссушающая рот божественная боль, Когда по торфу и песку волочится ходок

И по кремням прибрежных скал бредет, не чуя ног. Бредет к лачуге иль дворцу, дабы воздать поклон Тому, кто вживе был велик и славой умерщвлен. Багульник, трепеща, вознес лучистые цветы, И солнце песенке юлы внимает с высоты. Ручьи лобзают стрелолист у плоских берегов, Но медленных, тоскливых вод невнятен слабый зов. Закат за черным гребнем гор потоки крови льет, Ключи сочатся из пещер, из темных недр болот. Как бы дремля, парят орлы средь синевы пустой. Лесные голуби кружат над гробовой плитой, Но вечным сном заснул поэт, и вещий взор ослеп, -Так пилигрим усталый спал, найдя в пустыне склеп. Порой, — душа еще дитя, что мудрости полно, Но сердце барда мир забыл, вотще стучит оно. О. если б снова мог прожить безумец полдень свой И до заката опочить, но все пропеть с лихвой! Он в трепет бы привел того, чей дух всегда в пути, Кто колыбель певца сумел на севере найти. Но краток срок, недолог взлет за грань тшеты земной.

Из жизни горькой и благой, в надзвездный мир иной; Недолог взлет и краток срок, — там больше быть нельзя:

Не то забудется твоя скудельная стезя. Как страшно образ потерять, запомненный в былом, Утратить брата ясный взгляд, бровей сестры излом! Вперед, сквозь ветер! И вбирай палящий колорит; Он жарче и мощней того, что на холстах горит! Виденья прошлого живят былую смоль кудрей, Седины скудные ярят и гонят кровь быстрей. Нет, нет! Не властен этот страх! И, натянув канат, Ты счастлив, чуя, как рывком тебя влечет назад. Блажной, на водопад воззрев, ты в следующий миг Заметы памяти своей уже почти постиг; Ты их читаешь в царстве гор, пристроясь на углу Замшелой мраморной плиты, венчающей скалу. Хоть прочен якорь, но всегда паломник в путь

готов,

Он мудрость в силах сохранить, бредя в стране

хребтов,

И зыбку гения сыскать средь голых, черных гор, И не сомкнуть глаза души, не замутить свой взор.

18 июля 1818



на посещение стаффы

Аладдинов джинн покуда Не творил такого чуда; Колдунам над Ди-рекою И не грезилось такое; Сам апостол Иоанн, Что провидел сквозь туман В небе, заревом объятом, Семь церквей, сверкавших златом, Не видал таких красот. Я вступил под строгий свод: Там на мраморе нагом Некто спал глубоким сном. Море брызгами кропило Ноги спящему и било О каменья край плаща: Кудри, по ветру плеща, Вкруг чела вились тяжелым Золотистым ореолом. «Кто сей спящий? Что за грот?» — Я шепнул, шагнув вперед. «Что за грот? И кто сей спящий?» --Я шепнул, рукой дрожащей Тронув юношеский лик. Юный дух очнулся вмиг, Встал и молвил мне в ответ: «Смерть мою воспел поэт. Лисидасом-пастухом я зовусь, А здесь мой дом: Он воздвигнут Океаном. В нем волна гудит органом; И паломники дельфины, Жители морской пучины, Жемчуга собрав на дне, В дар сюда несут их мне. Но увы — сменился век: Ныне дерзкий человек Волны бороздит упрямо. Не щадя Морского Храма. Горе мне, жрецу: бывало, Вод ничто не волновало; Хор пернатых певчих встарь В небесах парил; алтарь

Охранял я от людей,
Ризничим был сам Протей.
А теперь людские взгляды
Сквозь скалистые преграды
Проникают вглубь — и вот
Я решил покинуть грот,
Бывший мне укрытьем прежде:
Он доступен стал невежде,
Яхтам, шлюпкам, челнокам,
Щеголихам, щеголькам
С их грошовою кадрилью!
Но, противясь их засилью,
Грот в пучину канет вскоре»...
Молвив так, он прыгнул в море —
И пропал!

23-26 июля 1818

на вершине бен невис

О Муза, преподай мне свой урок
Здесь, на вершине, затканной туманом!
Взгляну ли вниз — там в пропастях залег,
Клубясь, туман. Таким же смутным, странным
Нам ад рисуется. Взгляну ли ввысь —
И там седой туман. О небе знаем
Ничуть не больше мы. И гложет мысль,
Когда вовнутрь мы взоры обращаем,
Что и себя нам видеть не дано...
И вот, ничтожный, я достиг вершины,

Но что глазам предстало? Лишь одно: Что я стою здесь, а кругом — теснины. Кругом густой туман. Туман и тьма И здесь, и в царстве мысли и ума.

2 августа 1818



[ИЗ ПИСЬМА ДЖОРДЖУ И ДЖОРДЖИНЕ КИТСАМ]

Ночь нисходит, тайн полна, Загорается луна. Вот уже и звезды дремлют И сквозь сон кому-то внемлют — Кто их слух привлек? Это песен тихий звон Потревожил звездный сон, И весь мир в луну влюблен, Слыша мой рожок. Растворите, звезды, уши! Слушай, полный месяц! Слушай, Свод небесный! Вам спою Колыбельную мою, Песенку мою. Дремли, дремли, дремли, дремли, Внемли, внемли, внемли, внемли — Слушай песнь мою!

Пусть камыш для колыбели Наломать мы не успели И собрали хлопка мало, Что пойдет на покрывало, Шерстяной же плед мальца Носит глупая овца, — Дремли, дремли, дремли, дремли, Внемли, внемли, внемли, внемли — Слущай песнь мою! Вижу! Вон ты, предо мною, Окруженный тишиною! Я все вижу! Ты, малыш, На коленях мамы спишь... Не малыш! О нет же, нет: Божьей милостью Поэт! Лира, лира мальчугана Светом осиянна! Над кроваткою висит И горит, горит, горит Лира негасимо. Ну, малыш, очнись, проснись, Посмотри скорее ввысь: Пышет жар оттуда — Чудо, чудо! Он взглянул, взглянул, взглянул, Он дерзнул, лишь он дерзнул! Тянется к огню ручонка --Разом съежился огонь,-Лира же в руке ребенка Оживает наконец -Ты воистину певец! Баловень богов. Западных ветров, Ты воистину певец! Славься, человек,

Ныне и вовек, Баловень богов, Западных ветров, Славься, человек!

14-31 октября 1818



Здравствуй, радость, здравствуй, грусть, Дудка Пана, ряска Леты, Нынче пусть, и завтра пусть, Я люблю и то, и это: Хмурый взгляд в погожий день, Смех под ливнем разливанным; Все мне любо: свет и тень, **Драма вместе с балаганом!** Яркий луг над тленьем скрытным, Смех над чудом беззащитным, Вздох над площадным шутом, Гроб — и колокольный гром, Отрок с черепом в руке, Бриг разбитый на песке. Волчьи ягоды с малиной, В красных розах шип змеиный,

Клеопатра в царском платье С черным аспидом в объятье. Хороводы на полянах Бледных муз и муз румяных, Сумасшедший и здоровый. Резвый Мом и Крон суровый. Смех, и вздох, и смех опять, О, как сладко горевать! Так входите, лиц не пряча, Музы пения и плача, Одарите вдохновеньем, Чтоб и мне забыться пеньем. Утолить по доброй воле Жажду радости и боли. Так сплетайтесь общей кроной. Темный тис и мирт зеленый. Кровом будьте надо мной. А могильный холм — скамьей.

(Октябрь) 1818

ПЕСНЯ

I

Дух всесильный — ты царишь! Дух всесильный — ты скорбишь! Дух всесильный — ты пылаешь! Дух всесильный — ты страдаешь! О дух! Я почил В тени твоих крыл, Поник головою всклокоченной. О дух! Как звездой, Я грежу одной Твоею туманною вотчиной. П

Дух всесильный, звонкий смех! Дух всесильный, пьяный грех! Дух всесильный, ты танцуешь! Благородный, ты ликуешь! О дух! Через край Веселье! Давай Локтями подталкивать Moma! О дух! Не робеть, Вакхически рдеть Сумеем на пиршестве Koma!

(Октябрь) 1818



Где же он и с кем — поэт?

Музы, дайте мне ответ!

— Мы везде его найдем:

Он с людьми, во всем им равен;

С нищим он и с королем,
С тем, кто низок, с тем, кто славен;
Обезьяна ли, Платон —
Их обоих он приемлет;
Видит все и знает он —
И орлу, и галке внемлет;
Ночью рык зловещий льва
Или тигра вой ужасный —
Все звучит ему так ясно,
Как знакомые слова
Языка родного...

Октябрь 1818

СОВРЕМЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Любовы! Игрушка лени золотой! Кумир, такой божественно-прекрасный, Что юность, в упоенье расточая Ей сотни тысяч ласковых имен, Сама себя божественною мнит И, праздная, безумствует все лето, Гребенку барышни признав тиарой, Стрелой Амура — биллиардный кий. Тогда живет Антоний в Брунсвик-сквере, И Клеопатра — в номере седьмом. Но если страсть воспламеняла мир,

Бросала в прах цариц и полководцев, Глупцы! — так вашу мелкую страстишку Сравню я только с сорною травой. Восстановите тот тяжелый жемчуг, Что растворен царицею Египта, И хоть на вас касторовые шляпы — Я вам скажу: вы можете любить!

1818

ГИПЕРИОН

Фрагмент

КНИГА ПЕРВАЯ

В угрюмой тьме затерянной долины, Вдали от влажной свежести зари, И полдня жгучего, и одинокой Звезды вечерней, — в мрачной тишине Сидел Сатурн, как тишина, безмолвный, Недвижный, как недвижная скала. Над ним леса, чернея, громоздились Подобно тучам. Воздух так застыл, Что в нем дыханья б даже не хватило Пушинку унести; и мертвый лист, Упав, не шевелился; и беззвучно Поток струился под налегшей тенью Низвергнутого божества; Наяда, Таившаяся в темных тростниках, К губам холодный палец прижимала.

Вдоль полосы песчаной протянулись Глубокие, неровные следы К стопам Сатурна. На холодном дерне Покоилась тяжелая рука Титана — равнодушная, немая, Безвластная. Не открывая глаз, Он словно к матери своей Земле Клонился, ожидая утешенья.

Казалось, чтобы пробудить его, Нет силы соразмерной. Но пришла Та, что коснулась родственной рукою Его широких плеч, склонясь пред ним В почтительности скорбной и глубокой. Она была богиней на заре Рожденья мира; даже Амазонка Предстала б карлицею рядом с ней; Она могла бы гордого Ахилла, За волосы схватив, пригнуть к земле Иль Иксиона колесо — мизинцем Остановить. Ее прекрасный лик Был больше, чем у Сфинкса из Мемфиса, Которому дивились мудрецы, --Но как не походил на мертвый мрамор, Как он светился красотой Печали, Печали, что превыше Красоты! Она прислушивалась к тишине С тревогой — словно тучи первых бедствий Растратили уже свои грома И новые отряды тьмы зловещей От горизонта двигались... Прижав Одну ладонь к груди, как будто ей, Богине, что-то причиняло боль В том месте, где у смертных быется сердце, Другой рукою тронув за плечо

Сатурна и к виску его приблизив Полураскрытые уста, она Заговорила звучным, как орган, Певучим голосом... Вот слабый отзвук Тех слов (О, как ничтожна наша речь В сравненые с древним языком богов!): «Сатурн, очнисы!.. Но для чего зову Тебя очнуться, свергнутый владыка! Могу ль утешить чем-нибудь? Ничем. Увы, ты небом предан, и земля Тебя, бессильного, не признает Монархом; океан вечношумящий Отпал от скиптра твоего; и мир Лишился первозданного величья. Твой гром, под власть чужую перейдя, Грохочет, необузданный, в эфире, Доселе ясном: молния твоя Беснуется в неопытных руках, Бичуя все вокруг и опаляя. Мучительные, злые времена! Мгновенья, бесконечные, как годы! Так беспощадно давит эта боль, Что не передохнуть и не забыться. Так спи, Сатурн, без пробужденья спи! Жестоко нарушать твою дремоту, Она блаженней яви. Спи, Сатурн! — Пока у ног твоих я плачу горько».

Как в летнюю магическую ночь Под пристальным сиянием созвездий Беззвучно грезит усыпленный лес, И вдруг проходит одинокий шорох, Как в море одинокая волна,— И снова тишина, — так отзвучали Ее слова. В слезях она застыла,

К земле припав своим широким лбом И словно шелковистое руно Рассыпав волосы у ног Сатурна. Так минул месяц, совершив в ночи Свои серебряные превращенья. И целый месяц оставались оба Недвижны, словно изваянья в нише: Оцепенелый бог, к земле склоненный, И скорбная сестра. — пока Сатурн Не поднял от земли померкший взор И, оглянувшись, не увидел гибель Своей державы, весь угрюмый мрак **Полины той** — и возле ног своих Коленопреклоненную богиню. И вот он начал говорить, с усильем Ворочая застывшим языком. И мелкою осиновою дрожью Дрожала борода его: «О Тейя, Супруга светлого Гипериона! Дай мне взглянуть в твое лицо, чтоб в нем Прочесть свою судьбу; скажи, сестра, Ужель ты узнаешь Сатурна в этом Бессильном образе? ужель ты слышишь Сатурна голос? или этот лоб, Изрезанный морщинами невзгод, Лишенный драгоценной диадемы.— Чело Сатурна? Кто исхитил силу Из рук моих? Как вызрел этот бунт, Когда, казалось, я железной хваткой Держал Судьбу в могучем кулаке? Но так случилось. Я разбит, раздавлен И потерял божественное право Влияния на ход светил ночных, Увещевания ветров и волн, Благословения людских посевов —

Всего, в чем может Высшее Начало Излить свою любовь. Я сам себя Не обретаю в собственной груди; Не только трон — я суть свою утратил И впал в ничтожество. Взгляни, о Тейя! Открой свои бессмертные глаза И взглядом обведи простор вселенной: Пространства мглы — и сгустки ярких звезд, Края, где дышит жизнь. — и царства хлада. Круги огня — и адское жерло. Вглядись, о Тейя, может быть, увидишь Крылатую какую-нибудь тень Иль буйно мчащуюся колесницу, Спешащую отвоевать обратно Утраченные небеса: пора! Сатурн обязан снова стать царем, Блистательной победой увенчаться! Мятежников я свергну — и услышу, Как трубы золотые возвестят О торжестве, как праздничные гимны С сияющих прольются облаков, Призывы к миру и великодушью, И переливчатые звуки лир... И много небывалой красоты Тогда родится в мир — на удивленье Всем детям неба. Я отдам приказ! О Тейя, Тейя! Что с Сатурном стало?»

Одушевленный, он уже стоял, Сжимая длани; пот с чела струился; Его седая грива разметалась, Пресекся голос. Он уже не слышал Стенаний Тейи; лишь глаза сверкнули, И с уст сорвались грозные слова: «Что ж! разве разучился я творить? Не в силах новый мир создать, разрушив И уничтожив этот? Дайте новый Мне Хаос, дайте!» Этот грозный крик Достиг Олимпа и повергнул в дрожь Бунтовщиков. Рыдающая Тейя Воспряла и с надеждою в глазах Заговорила страстно-торопливо:

«О, это речь Сатурна! Так скорее Идем к собратьям нашим, чтоб вселить В них мужество. Я поведу тебя». И, умоляюще взглянув на бога, Она пошла вперед, за нею вслед — Сатурн; пред ними расступалась чаща, Как облака пред горными орлами, Взлетающими над своим гнездом.

Повсюду в этот час царила скорбь. Стоял такой великий плач и ропот, Что смертным языком не передать. В укрытьях тайных или в заточенье Титаны в ярости судьбу клянут, К Сатурну, своему вождю, взывают. Во всем роду их древнем лишь один Еще хранит и силу и величье: Один блистающий Гиперион, На огненной орбите восседая, Еще вдыхает благовонный дым, Курящийся на алтарях земных Для бога Солнца, — но и он в тревоге. Зловещих предзнаменований ряд Его смущает — не собачий вой. Не уханье совы, не темный призрак Полуночи, не трепетанье свеч, Не эти все людские суеверья -Но признаки иные поселяют

В Гиперионе страх. Его дворец — От треугольных башен золотых И обелисков бронзовых у входа До всех бессчетных стен и галерей. Лучистых куполов, колонн и арок — Кроваво-красным светится огнем, И занавеси облаков рассветных Пылают багряницей: то внезапно Затмятся окна исполинской тенью Орлиных крыл, то ржаньем скакунов Покои огласятся. В кольцах дыма, Которые восходят к небесам С холмов священных, ощущает бог Не аромат, но ядовитый привкус Горелого металла. Оттого-то, До гавани вечерней доведя Усталое светило и укрывшись На сонном западе, дабы вкусить Блаженный отдых на высоком ложе И мелодическое забытье. Не может он отдаться безмятежно Дремоте, но угрюмо переходит Шагами грузными из зала в зал, Пока его крылатые любимцы По дальним нишам и углам дворца Прислушиваются, теснясь в испуге, Как беженцы за городской стеной, Когда землетрясенье разрушает Их бастионы, храмы и дома. Как раз теперь, когда Сатурн, очнувшись От ледяного сна, за Тейей вслед Ступал сквозь дебри сумрачного бора, Гиперион, потемкам оставляя Владеть землей, спустился на порог Заката. Двери солнечных чертогов

Бесшумно отворились, — только трубы Торжественных Зефиров прозвучали Чуть слышным, мелодичным дуновеньем,— И вот, как роза в пурпурном цвету, Во всем благоуханье и прохладе, Великолепный, пышный этот вход Раскрылся, как бутон, пред богом солнца.

Гиперион вошел. Он весь пылал Негодованьем; огненные ризы За ним струились с ревом и гуденьем, Как при лесном пожаре, - устрашая Крылатых Ор. Пылая, он прошел Под сводами из радуг и лучей, По анфиладам светозарных залов И по алмазным лестницам аркад Сияющих, — пока не очутился Под главным куполом. Остановясь И более не сдерживая гнева, Он топнул в бешенстве, — и весь дворец От основанья до высоких башен Сотрясся, и тогда, перекрывая Протяжный гром могучего удара, Воскликнул так: «О сны ночей и дней! О тени зла! О барельефы боли! О страшные фантомы хладной тьмы! О призраки болот и черных дебрей! Зачем я вас увидел и познал? Зачем смутил бессмертный разум свой Чудовищами небывалых страхов? Сатурн утратил власть; ужель настал И мой черед? Ужели должен я Утратить гавань мирного покоя, Край моей славы, колыбель отрад, Обитель утешающего света,

Хрустальный сад колонн и куполов И всю мою лучистую державу? Она уже померкла без меня; Великолепье, красота и стройность Исчезли. Всюду — холод, смерть и мрак. Они проникли даже и сюда. В мое гнездо, исчадья темноты, Чтоб мой покой отнять, затмить мой блеск, Похитить власть! О нет, клянусь Землей И складками ее олежд соленых! Мне стоит мощной дланью погрозить — И затрепещет громовержец юный, Мятежный Зевс, и я верну назад Трон и корону — старому Сатурну!» Он смолк; поток других угроз, готовых Извергнуться, застрял в гортани. Ибо, Как в переполненном театре шум Лишь возрастает от призывов: «Тише!» — Так после этих слов Гипериона Фантомы вкруг него зашевелились Озлобленней. Подул сквозняк. От плит Зеркальных, на которых он стоял, Поднялся пар, как от болотной топи. И судорога страшная прошла По мускулам гиганта, — как змея, Обвившаяся медленно вкруг тела От ног до шеи. На пределе сил Он вырвался из давящих колец И поспешил к восточному порталу, Где шесть часов росистых пред зарей Провел, дыханьем жарким согревая Порог Восхода, очищая землю От мрачных испарений — и дождем Их низвергая в струи океана. Горящий шар светила, на котором

Он совершал с востока на закат Свой путь по небу, был закутан в ворох Туч соболиных, но не вовсе скрыт Глухою темнотой, — а прорывался Светящимися линиями дуг, Зигзагов и лучей по всей широкой Окружности эклиптики — старинным Священным алфавитом мудрецов И звездочетов, живших на земле Впоследствии и овладевших им Трудами вековых пытливых бдений: Те знаки сохранились и теперь На мраморе расколотом, на черных Обломках камня, — но забыта суть И смысл утрачен... Этот шар огня Стал расправлять при появленье бога Сияющие крылья. Из потемок Являлись, друг за другом восходя, Их перья серебристые — и вот Простерлись, озаряя поднебесье. Лишь самый диск светила пребывал В затменье, ожидая приказанья Гипериона. Но напрасно он Повелевал, чтоб вспыхнул новый день. Не подчинялись больше божеству Природные стихии. И рассвет Застыл в начальных знаменьях своих. Серебряные крылья напряглись, Как паруса, готовые нести Светило дня; раскрылись широко Ворота сумрачных ночных пространств. И, угнетенный новою бедой, Склонился некогда неукротимый Титан — и по гряде унылых туч, По кромке дня и ночи он простерся

В свеченье бледном, в горести немой. Склонясь над ним, глядели небеса Сочувствующими очами звезд. И вдруг донесся из ночных глубин Проникновенный и негромкий шепот: «О самый светлый из моих детей. Сын Неба и Земли, потомок тайн, Непостижимых даже мощным силам. Тебя зачавшим. — отчего и как Находит это тихое блаженство И сладость содроганий, я не знаю, Но все, что рождено от этих таинств,-Все образы, все видимые формы — Лишь символы, лишь проявленья скрытой, Прекрасной жизни, всюду разлитой В божественной вселенной. Ты возник От них, о светлое литя! От них — Твои титаны-братья и богини. Жестока ваша новая вражда; Сын на отца поднялся. Видел я. Как первенец мой сброшен был с престола; Ко мне он руки простирал, ко мне Взывал сквозь гром. А я лишь побледнел И тучами укрыл лицо от горя. Ужель и ты падешь, как он? Мне страшно, Что стали непохожи на бессмертных Мои сыны. Вы были рождены Богами, и богами оставались И в торжестве, и в горести — царями Стихий, владыками своих страстей. А ныне я вас вижу в страхе, в гневе, Объятыми сомненьем и надеждой, Подобно смертным людям на земле. Вот горький признак слабости, смятенья И гибели. О сын мой, ты ведь бог!

Ты полон сил стремительных, ты можещь Ударам Рока противопоставить И мужество, и волю. Я — лишь голос. Живу, как волны и ветра живут. Могу не больше, чем ветра и волны. Но ты борись! Ты можещь упредить Событья и схватить стрелу за жало, Пока не прозвенела тетива. Спеши на землю, чтоб помочь Сатурну! А уж за солнцем и за сменой суток Я пригляжу пока». Ошеломленный, Восстав и широко раскрыв глаза, Внимал Гиперион словам, идущим С мерцающих высот. Умолкнул голос, А он все вглядывался в небеса. В спокойное сияние созвездий: Потом подался медленно вперед Могучей грудью, как ловец жемчужин Над глубиной, — и с края облаков Бесшумно ринулся в пучину ночи.



КНИГА ВТОРАЯ

В то самое мгновение, когда Гиперион скользнул в шуршащий воздух, Сатурн с сестрой достигли скорбных мест,

Где братья побежденные томились. То было логово, куда не смел Проникнуть свет кошунственным лучом, Чтоб в их слезах блеснуть: где не могли Они расслышать собственных стенаний За слитным гулом струй и водопадов. Ревущих в темноте. Нагроможденье Камней рогатых и лобастых скал, Как бы едва очнувшихся от сна. Чудовищной и фантастичной крышей Вздымалось над угрюмым их гнездом. Не троны, а большие валуны, Кремнистые и сланцевые глыбы Служили им седалищами. Многих Недоставало здесь: они скитались. Рассеянные по земле. В цепях Страдали Кей, Тифон и Бриарей, Порфирион, Долор и Гий сторукий, И множество других непримиримых, Из опасенья ввергнутых в затвор, В тот душный мрак, где их тела в оковах Так были сжаты, сдавлены, распяты, Как жилы серебра в породе горной, И только судорожно содрогались Огромные сердца, гоня вперед Круговорот бурлящей, рдяной крови. Раскинувшись кто вдоль, кто поперек, Они лежали, мало походя На образы живых, — как средь болот Окружье древних идолов друидских В дождливый, стылый вечер ноября, Когда под небом — их алтарным сводом — Кромешная густеет темнота. Молчали побежденные, ни словом Отчаянных не выдавая мук.

Один из них был Крий; ребро скалы, Отколотой железной булавою. Напоминало, как ярился он Пред тем, как обессилеть и свалиться. Другой был Иапет, сжимавший горло Придушенной змеи: ее язык Из глотки вывалился, и развились Цветные кольца: смерть ее настигла За то, что не посмела эта тварь Слюною ядовитой брызнуть в Зевса. Котт, распростертый подбородком вверх, С раскрытым ртом, затылком на холодном Кремнистом камне, как от дикой боли, Вращал зрачками. Дальше, рядом с ним Лежала Азия, огромным Кафом Зачатая: никто из сыновей Не стоил при рожденье столько боли Земле, как эта дочь. В ее лице Задумчивость, а не печаль сквозила; Она свое провидела величье В грядущем: пальмы, храмы и дворцы Близ Окса иль у вод священных Ганга; И как Надежда на железный якорь. Так опиралася она на бивень Громаднейшего из своих слонов. За ней, на жестком выступе гранитном, Простерся мрачной тенью Энкелад: Он, прежде незлобивый и смиренный, Как вол, пасущийся среди цветов, Был ныне полон ярости тигриной И львиной злобы: в мстительных мечтах Уже он горы громоздил на горы, Лелея мысль о той второй войне, Что вскоре разразилась, самых робких Заставив спрятаться в зверей и птиц.

Атлант лежал ничком; с ним рядом Форкий, Отец Горгон. За ними — Океан И Тефия, в коленах у которой Растрепанная плакала Климена. Посередине всех Фемида жалась К ногам царицы Опс, почти во мраке Неразличимой, как вершины сосен, Когда их с тучами смешает ночь; И многие иные, чьих имен Не назову. Ведь если крылья Музы Простерты для полета, что ей медлить? Ей нужно петь, как сумрачный Сатурн Со спутницей, скользя и оступаясь, Взобрался к этой пропасти скорбей Еще из худших бездн. Из-за уступа Сначала головы богов явились. И вот уже ступили две фигуры На ровное подножье. Трепеща, Воздела Тейя руки к мрачным сводам Пещеры — и внезапно взор ее Упал на лик Сатурна. В нем читалась Ужасная борьба: страх, жажда мести, Надежда, сожаленье, боль и гнев. Но главное — тоска и безнадежность. Вотще он их стремился одолеть, Судьба уже отметила его Елеем смертных — ядом отреченья: И сникла Тейя, пропустив вперед Вождя — к его поверженному войску.

Как смертного скорбящая душа Терзается сильней, вступая в дом, Который омрачило то же горе, Так и Сатурн, войдя в печальный круг, Почувствовал растерянность и слабость. Но Энкелада мужественный взор. С надеждой устремленный на него, Придал Сатурну сил, и он воскликнул: «Я здесь, титаны!» Услыхав вождя, Кто застонал, кто попытался встать. Кто возопил — и все пред ним склонились С благоговением. Царица Опс. Откинув траурное покрывало. Явила бледный изможденный лик И черные запавшие глаза. Как гул проходит между горных сосен В ответ на дуновение Зимы, Так прокатился шум среди бессмертных, Когда Сатурн им подал знак, что хочет Словами полновесными облечь. Исполненными музыки и мощи. Смятение свое и бурю чувств. Но сосен шум сменяется затишьем, А здесь, едва нестройный ропот смолк, Глас божества возрос, как гром органа, Когда стихают хора голоса, Серебряное эхо оставляя В звенящем воздухе. Так начал он: «Ни в собственной груди, где я веду Сам над собой дознание и суд. Не отыскал я ваших бед причину. Ни в тех легендах первобытных дней, Которые Уран звездоочитый Нашел на отмели начальной мглы, Когда ее прибой бурлящий схлынул, — В той книге, что служила мне всегда Подставкою для ног — увы, неверной! — Ни в символах ее, ни в чудесах Стихий — земли, огня, воды и ветра —

В их поединках, в яростной борьбе Одной из них с двумя, с тремя другими, Как при грозе, когда идет сраженье Огня и воздуха, а струи ливня, Хлеща, стремятся их прибить к земле, В соитье четверном рождая серу, -Ни в этих схватках, в таинствах стихий, Которые мне до глубин открыты, Я не нашел причины ваших бед: Напрасно вчитывался в дивный свиток Природы, — я не мог сыскать разгадки, Как вы, перворожденные из всех Богов, что осязаемы и зримы, Слабейшим поддались. Но это так! Вы сломлены, унижены, разбиты. Что мне теперь сказать вам, о титаны? «Восстаньте»? — вы молчите. «Пресмыкайтесь»? — Вы стонете. Что я могу сказать? О небеса! О мой отец незримый! Что я могу? Поведайте мне, братья! Мой слух взыскует вашего совета. О ты, глубокомудрый Океан! Я вижу на твоем челе суровом Печать раздумья. Помоги же нам!»



Сатурн умолк, а вещий бог морей — Хотя не ученик Афинских рош. Но сумрака подводного философ, — Встал, разметав невлажные власы, И молвил дивно-звучным языком, Мерношумящим голосом прибоя: «О вы, кто дышит только жаждой мести, Кто корчится, лелея боль свою, Замкните слух: мой голос не раздует Кузнечными мехами вашу ярость. Но вы, кто хочет правду услыхать, Внимайте мне: я докажу, что ныне Смириться поневоле вы должны. И в правде обретете утешенье. Вы сломлены законом мировым, А не громами и не силой Зевса. Ты в суть вещей проник. Сатурн великий, До атома; и все же ты — монарх, И, ослепленный гордым превосходством, Ты упустил из виду этот путь, Которым я прошел к извечной правде. Во-первых, как царили до тебя, Так будут царствовать и за тобой: Ты — не начало, не конец вселенной. Праматерь Ночь и Хаос породили Свет — первый плод самокипящих сил, Тех медленных брожений, что подспудно Происходили в мире. Плод созрел, Явился Свет, и Свет зачал от Ночи, Своей родительницы, весь огромный Круг мировых вещей. В тот самый час Возникли Небо и Земля; от них Произошел наш исполинский род. Который сразу получил в наследство Прекрасные и новые края.

Стерпите ж правду, если даже в ней Есть боль. О неразумные! — принять И стойко выдержать нагую правду — Вот верх могущества. Я говорю: Как Небо и Земля светлей и краше, Чем Ночь и Хаос, что царили встарь. Как мы Земли и Неба превосходней И соразмерностью прекрасных форм, И волей, и поступками, и дружбой. И жизнью, что в нас выражены чище, -Так нас теснит иное совершенство, Оно сильней своею красотой И нас должно затмить, как мы когда-то Затмили славой Ночь. Его триумф — Сродни победе нашей над начальным Господством Хаоса. Ответьте мне. Враждует ли питательная почва С зеленым лесом, выросшим на ней, Оспаривает ли его главенство? А дерево завидует ли птице. Умеющей порхать и щебетать И всюду находить себе отраду? Мы — этот светлый лес, и наши ветви Взлелеяли не мелкокрылых птах — Орлов могучих, златооперенных, Которые нас выше красотой И потому должны царить по праву. Таков закон Природы: красота Дарует власть. По этому закону И победители познают скорбь, Когда придет другое поколенье. Видали ль вы, как юный бог морей, Преемник мой, по голубой пучине Средь брызг и пены в колеснице мчит, Крылатыми конями запряженной?

Я видел это, — и в его глазах Такая красота мне просверкала, Что я сказал печальное «прощай» Своей державе, я простился с властью И к вам пришел сюда, чтоб разделить Груз ваших бед — и утешенье дать: Да будет истина вам утешеньем».



Смущенные ли мудрой правотою, Иль из презрения к его словам, Но все хранили тишину, когда Смолк рокот Океана. Лишь Климена, Пренебрегаемая до сих пор, Заговорила вдруг — не возражая, А только кротко изливая грусть, Тишайшая среди неукротимых: «Отец, я здесь неискушенней всех, Я знаю только, что исчезла радость И скорбь-змея свила себе гнездо В сердцах у нас, боюсь, уже навеки. Я бы не стала предрекать беду, Когда б сама могла ее смирить, Но здесь нужна могущественней сила.

Позвольте же поведать мне о том, Что так заставило меня рыдать И отняло последние надежды. Стояла я на берегу морском: Бриз, веявший от леса, доносил Благоуханье листьев и цветов, Такой исполненное чудной неги. Такой отрады, что в тоске моей Мне захотелось эту тишь нарушить. Смутить самодовлеющий покой Печальной песнею о наших белах. Я села, раковину подняла С песка — и тихо в губы ей подула. Чтобы извлечь мелодию; но вдруг, Покуда я пыталась разбудить Глухое эхо в сводах перламутра, — С косы напротив, с острова морского Донесся столь чарующий напев, Что сразу захватил мое вниманье. Я раковину бросила, и волны Наполнили ее, как уши мне Наполнила отрада золотая; Погибельные, колдовские звуки Каскадом ниспадали друг за другом — Стремительно, как цепь жемчужин с нити, А вслед иные ноты воспаряли, Подобно горлицам с ветвей оливы, И реяли над головой моей, Изнемогавшей от отрады дивной И скорбной муки. Победила скорбь, И я безумные заткнула уши, Но сквозь дрожащую преграду пальцев Прорвался нежный и певучий голос, С восторгом восклицавший: «Аполлон! О юный Аполлон золотокудрый!»

В смятенье я бежала, а за мной Летело и звенело это имя!.. Отец мой! братья! если бы вы знали, Как было больно мне! Когда б ты слышал, Сатурн, как я рыдала, — ты б не стал Меня корить за дерзость этой речи».

Как боязливый ручеек, петляя По гальке побережья, медлит впасть В безбрежность волн, так этот робкий голос Струился вдаль, - но устья он достиг, Когда был, словно морем, поглощен Взбещенным, гневным басом Энкелада. Он говорил, на локоть опершись, Но не вставая, словно от избытка Презрения. — и тяжкие слова Гремели, как удары волн о рифы. «Кого должны мы слушать — слишком мудрых Иль слишком глупых, братья-великаны? Обрушьте на меня хоть все грома Бунтовшиков с Олимпа, взгромоздите Всю землю с небесами мне на плечи -Страшнее я не испытал бы мук. Чем ныне, слыша этот детский лепет. Шумите же, кричите и бушуйте, Вопите громче, сонные титаны! Неужто вы проглотите обиды И униженья от юнцов снесете? Неужто ты забыл, Владыка вод, Как ты ошпарен был в своей стихии? Что — наконец в тебе проснулся гнев? О, радосты! значит, ты не безнадежен! О, радость! наконец-то сотни глаз Сверкнули жаждой мести!» — Он поднялся

Во весь огромный рост и продолжал: «Теперь вы — пламя, так пылайте жарче, Пройдитесь очистительным огнем По небесам, калеными стрелами Спалите дом тщедушного врага, За облака занесшегося Зевса! Пусть он пожнет содеянное зло! Я презираю мудрость Океана; И все же не одна потеря царств Меня гнетет: дни мира улетели, Те безмятежные, благие дни, Когда все существа в эфире светлом Внимали нам с раскрытыми глазами И наши лбы не ведали морщин, А губы — горьких стонов, и Победа — Крылатое, неверное созданье -Была еще не рождена на свет. Но вспомните: Гиперион могучий, Наш самый светлый брат, еще царит... Он здесь! Взгляните — вот его сиянье!»

Все взоры были скрещены в тот миг На Энкеладе, и пока звучали Его слова под сводами ущелья, Внезапный отблеск озарил черты Сурового гиганта, что сумел Вдохнуть в богов свой гнев. И тот же отблеск Коснулся остальных, но ярче всех — Сатурна, чьи белеющие пряди Светились, словно вспененные волны Под сумрачным бушпритом корабля, Когда вплывает он в ночную бухту. И вдруг из бледно-серебристой мглы Слепящий, яркий блеск, подобно утру,

Возник и залил все уступы скал, Весь этот горестный приют забвенья, И кручи, и расщелины земли, Глухие пропасти и водопады Ревущие — и весь пещерный мир, Одетый прежде в мантию теней. Явил в его чудовищном обличье. То был Гиперион. В венце лучей Стоял он. с высоты гранитной глядя На бездну скорби, что при свете дня Самой себе казалась ненавистной. Сверкали золотом его власы В курчавых нумидийских завитках. И вся фигура в ореоле блеска Являла царственный и страшный вид, Как на закате Мемнона колосс Для пришлеца с туманного Востока. И, словно арфа Мемнона, стенанья Он испускал, ладонью сжав ладонь, И так стоял недвижно. Эта скорбь Владыки солнца тягостным уныньем Отозвалась в поверженных богах, И многие свои прикрыли лица. Чтоб не смотреть. Лишь пылкий Энкелад Свой взор горящий устремил на братьев, И, повинуясь этому сигналу, Поднялся Иапет, и мощный Крий, И Форкий, великан морской, — и стали С ним рядом, вчетвером, плечом к плечу. «Сатурн!» — раздался их призыв, и сверху Гиперион ответил громким криком: «Сатурн!» Но старый вождь сидел угрюмо С Кибелой рядом, и в лице богини Не отразилось радости, когда Из сотен глоток грянул клич: «Сатурн!»



КНИГА ТРЕТЬЯ

Вот так между покорностью и буйством Метались побежленные титаны. Теперь оставь их, Муза! Не по силам Тебе воспеть такие бури бедствий. Твоим губам скорей печаль пристала И меланхолия уединенья. Оставь их, Муза! Ибо скоро встретишь Ты множество божеств первоначальных, Скитающихся в мире без приюта. Но с трепетом коснись дельфийской арфы, И пусть повеет ветерком небесным Мелодия дорийской нежной лютни; Ведь эта песнь твоя — Отцу всех песен! Все розовое сделай ярко-алым, Пускай румянец розы вспыхнет ярче, Пусть облака восхода и заката Плывут руном роскошным над холмами, Пусть красное вино вскипит в бокале Ключом студеным, пусть на дне морском Ракушек розовеющие губы В кармин окрасятся, пусть щеки девы Зардеют жарко, как от поцелуя. Возрадуйтесь, тенистые Киклады И главный остров их, священный Делос!

Возрадуйтесь, зеленые оливы. И тополя, и пальмы на лужайках. И ветер, что поет на побережье, И гнущийся орешник темноствольный: Об Аполлоне будет эта песня! Где был он в час, когда в приют скорбей Спустились мы за солнечным титаном? Он спящими оставил пред зарею Мать и свою ровесницу-сестру И в полумраке утреннем спустился К ручью, чтоб там бродить под сенью ив, По щиколотку в лилиях росистых. Смолк соловей, и начал песню дрозд, И несколько последних звезд дрожали В лазури. Не было ни уголка На острове — ни грота, ни пещеры — Куда не достигал бы ропот волн, Лишь густотою леса приглушенный. Он слушал, и мерцала пелена Перед глазами, и стекали слезы По золотому луку. Так стоял, Когда из чащи выступила вдруг Богиня с грозно-величавым ликом. Она глядела, как бы испытуя, На юношу, и он, спеша постичь Загадку взора этого, воскликнул: «Как ты прошла по зыбкой глади моря? Или незримая в незримых ризах Доселе ты блуждала в этих долах? Мне кажется, я слышал шелест платья По опали сухой, когда один Мечтал я в глубине прохладной чащи, Мне чудилось волненье и шуршанье В густой нехоженой траве, я видел, Как поднимали головы цветы

Вослед таинственным шагам. Богиня! Я узнаю и твой бессмертный лик. И взор бесстрастный, — или это только Приснилось мне...» — «Да, — прозвучал ответ, — Тебе приснилась я. и. пробудясь. Нашел ты рядом золотую лиру. Коснулся певчих струн, — и целый мир С неведомою болью и отрадой Внимал рожденью музыки чудесной. Не странно ль, что, владея этим даром, Ты плачешь? В чем причина этой грусти? Меня печалит каждая слеза. Пролитая тобой. Открой мне душу: Ведь я на этом острове пустынном Была твоим хранителем и стражем — От детских лет, от первого цветка, Который сорвала рука младенца. До дня, когда ты сам сумел согнуть Свой лук меткоразящий. Все поведай Той древней силе, что пренебрегла Своим престолом и своим покоем Ради тебя и новой красоты. Родившейся на свет». С мольбой в глазах. Внезапно засиявших. Аполлон Проговорил, из горла изливая Певучие созвучья: «Мнемозина! Тебя узнал я, сам не знаю как. Зачем, всеведущая, ты пытаешь Меня вопросами? Зачем я должен Стараться выразить то, что сама Ты можешь мне открыть? Тяжелый мрак Неведенья мне застилает зренье. Мне непонятна собственная грусть; Я мучусь, думаю — и, обессилев, В стенаньях опускаюсь на траву,

Как потерявший крылья. О, зачем Мне эта тяжесть, если вольный воздух Податливо струится под моей Стопой стремительной? Зачем, зачем С такою элостью дерн я попираю? Богиня милостивая, ответь: Один ли этот остров есть на свете? А звезды для чего? А солнце? Солнце! А кроткое сияние луны? А тысячи созвездий? Укажи Мне путь к какой-нибудь звезде прекрасной, И я взлечу туда с моею лирой И серебристые ее лучи Заставлю трепетать от наслажденья!



Я слышал гром из туч. Какая сила, Чья длань властительная производит Шум этот и смятение стихий, Которым я внимаю — без боязни, Но в горестном неведенье? Скажи, Печальная богиня. — заклинаю Тебя твоей рыдающею лирой: Зачем в бреду и самоисступленье Брожу я в этих рощах? Ты молчишь. Молчишь! — но я уже читаю сам Урок чудесный на лице безмолвном И чувствую, как в бога превращает Меня громада знаний! Имена, Деянья, подвиги, седые мифы, Триумфы, муки, голоса вождей. И жизнь, и гибель — это все потоком Вливается в огромные пустоты Сознанья и меня обожествляет. Как будто я испил вина блаженных И приобщен к бессмертью!» Задохнувшись. Он смолк, не в силах взора оторвать От Мнемозины, и мерцали чудно Воспламененные глаза, — как вдруг Все тело охватило страшной дрожью, И залил лихорадочный румянец Божественную бледность, — как бывает Пред смертью — иль, верней, как у того, Кто вырвался из лап холодной смерти И в жгучей муке, сходной с умираньем, Жизнь обретает вновь. Такая боль Терзала Аполлона. Даже кудри — Его златые кудри трепетали Вокруг сведенной шеи. Мнемозина Воздела руки, словно прорицая... И вскрикнул Аполлон — и вдруг он весь Небесно...

Сентябрь — ноябрь 1818

МЕЧТА

Отпусти Мечту в полет, Радость дома не живет: Как снежинки, наслажденья Тают от прикосновенья, Лопаются — посмотри, — Как под ливнем пузыри! Пусть Мечта твоя летает, Где желает, как желает, Лишь на пользу не глядит — Польза радости вредит; Так порой в листве росистой Плод приметишь золотистый: Как он сочен, свеж и ал! Надкуси — и вкус пропал. Что же делать? Лето минет; Осень взгляд прощальный кинет; Ты останешься один. Дров сухих подбрось в камин! Пусть тебе мерцают в очи Искры — духи зимней ночи. Не слыхать ничьих шагов. Только пахарь с башмаков Снег налипший отряхает, Да луна меж туч мелькает. В этот час пошли Мечту С порученьем в темноту: Чтоб она тебе достала Все, чем год земля блистала; Пусть вернет тебе скорей Благодать июньских дней, И притом апреля почки

И весенние цветочки, Зрелой осени покой, — И таинственной рукой Пусть, как редкостные вина, Их смещает воедино: Кубок осущи глотком! — И услышишь майский гром, И шуршащий спелый колос, И далекой жатвы голос; Чу! как будто в небе звон... Жаворонок? Точно, он! Там грачи к гнезду родному Тащат ветки и солому; Гомон птиц и шум ручьев Слух наполнят до краев. Ты увидеть сможешь рядом Маргаритку — с виноградом, Поздних лилий холодок — И подснежника росток, Гиацинт сапфирный в чаще, Рядом с лопухом стоящий; И на всех листах вокруг — Ливня майского жемчуг. Ты приметишь мышь-полевку. Пережившую зимовку; Вялую от сна змею, Сбросившую чешую; В лозняке, спугнувши птичек, Пару крапчатых яичек; Перепелку, что крыла Над птенцами развела; Пчел, роящихся нестройно, Раздраженно, беспокойно; Желудей созревших град, Ветер, осень, листопад...

Пусть Мечта живет свободно, Странствуя, где ей угодно, Лишь на пользу не глядит ---Польза радости вредит. Разве не поблекнут розы Под унылым взглядом прозы? Разве будут губы дев Вечно свежими, созрев? Разве есть глаза такие -Пусть небесно-голубые. — Чтобы свет их не погас, Став обыденным для нас? Как снежинки, наслажденья Тают от прикосновенья. Лишь в Мечте бы ты сыскал Милую — свой идеал: Кроткую, как дочь Цереры, --Прежде, чем в свои пещеры Царь теней ее стащил И к угрюмству приучил; Белую, как стан иль ножка Гебы, коли вдруг застежка Золотая отпадет, И к ногам ее спадет Легкая, как сон, туника; И вздохнет Зевес-владыка, В кубке омочив уста... О крылатая Мечта!.. Разорви ж скорее эти Здравого рассудка сети; Отпусти Мечту в полет, Радость дома не живет.

(Декабрь) 1818

ОДА

Написано на чистой странице перед трагикомедией Бомонта и Флетчера «Прекрасная трактирщица».

> Барды Радости и Страсти! Вам дано такое счастье: В мире жизнью жить двойной — И небесной и земной! Там, вверху, в едином хоре С вами — солнце, звезды, зори; Шум небесных родников; Гул раскатистых громов; Там, под кровлею дубравной, Где пасутся только фавны, Вы вдыхаете густой Элисейских трав настой: Там гигантские над вами Колокольчики — шатрами; Маргаритки — все подряд — Источают аромат Роз, а розам для сравненья Нет на всей земле растенья! Там не просто соловьи Свишут песенки свои. Но поют высокой темы Философские поэмы, Сказки, полные чудес, Тайны вечные небес.

Вы — на небесах и все же На земле живете тоже; Ваши души, словно свет, Нам указывают след К тем высотам, в те селенья, Где ни скуки, ни томленья;

Смертным говорят они, Как летучи наши дни; Как блаженство к горю близко; Как заводит злоба низко; Про величье — и про стыд; Что на пользу, что вредит...

Барды Радости и Страсти! Вам дано такое счастье: В мире жизнью жить двойной — И небесной и земной!

(Декабрь) 1818

ПЕСНЯ

Тише, милая, тише! на цыпочках шаг!
Дом уснул, — но тише, не надо так смело!
Хоть подшила ты ватой плешивцу колпак,
Вдруг услышит?.. О сладостная Изабелла!
Хоть походка твоя, как у феи, легка,
Танцующей на пузырьках ручейка,
Тише, милая, тише! ступай осторожно!
Спит ревнивец, но чутко он спит и тревожно.

Смолкли шорохи, воздух застыл недвижим,
Отрешилась ночь от летейской заботы,
Майский жук монотонным гуденьем своим
Погрузил ее в озеро смутной дремоты;
И луна скрылась в облако, словно за дверь,
Из скромности — или поняв, что теперь
Нам не нужно огня, кроме глаз твоих ярких —
О моя Изабелла! — и губ твоих жарких.

Скинь щеколду! ах нет! — осторожнее с ней! Нас повсюду опасности подстерегают.
Хорошо! а теперь — дай мне губы скорей! Пусть храпит старый дурень и звезды мигают.
Спящей розе приснится любовь, и она На заре проснется, нектара полна;
Дикий голубь, воркуя, к подруге прижмется...
Ах, как больно в груди поцелуй отдается!

(Декабрь) 1818

КАНУН СВЯТОЙ АГНЕССЫ

1

Канун Святой Агнессы. Холода.

Сове — и то в лесу не сладко было.

Траву в полях одела корка льда.

В овчарне стадо смолкшее застыло.

Монах поклоны отбивал уныло,
Он мерз. И словно хладный фимиам,
Всплывающий от ветхого кадила,
Неслось его дыханье к небесам,
И достигало их, и оставалось там.

2

Он дочитал молитву терпеливо. И, босоног, и немощен, и свят, — Берет светильник и неторопливо Вдоль нефа темного бредет назад, Минуя изваяний длинный ряд, Коленопреклоненные, стоят, — И думает старик, изнемогая, О том, как их томит одежда ледяная.



3

Свернул на север, в боковую дверь.

Шагни вперед — и лаской музыкальной
Он был бы сладко опьянен теперь.
Но колокол зовет его прощальный,
Над ним обряд свершая погребальный.
Бредет монах, соблазны гонит прочь,
Он выбрал путь недальний и печальный:
Лег наземь, чтобы слабость превозмочь.
За грешников молясь, монах не спал всю ночь,

4

Он все же слышал нежный звон прелюдий Сквозь множество распахнутых дверей, — Там, в переходах, суетились люди. Вот музыка становится слышней, И зала, принимавшая гостей, Могла б явить монаху блеск соблазна. Лепные ангелы висят над ней, Держа карниз; глаза таращат праздно, На животе крыла сложив крестообразно.

5

Смех серебром звенит, и счету нет Цветам, нарядам, перьям и алмазам. Здесь рыцарских романов сладкий бред, Который в юности дурманит разум. Но отойдем и обратимся разом К мечтательнице-деве у окна, Поверившей доподлинным рассказам, Что слышала от старых дам она, — И нынче ждет весь день, надеждой пленена.

6

В канун Святой Агнессы дева может Во сне вкусить пленительных услад С любимым, — сна ничто не потревожит — Так опытные дамы говорят; Лишь соверши магический обряд: Не прикасайся к лакомствам и хлебу,

Ложись в постель, не оглянись назад, Не шевелись, глаза подъемли к небу — И у небес всего, чего ты ждешь, потребуй.

7

И Маделина юная сейчас,
Погружена в мечты, в тени стояла, —
Потуплен взор ее девичьих глаз,
Наскучил блеск торжественного бала,
И музыка ее не волновала —
Вот кавалер влюбленный подойдет,
За ним другой, — не внемля им нимало,
Она сладчайших сновидений ждет, —
Святой Агнессы ночь — одна за целый год.

8

Священный час так близок. Каждый танец Томителен был деве, полной грез: Глаза в тумане, на щеках румянец, Средь разговоров в шутку и всерьез, Любовных объяснений и угроз — Одну мечту скрывала дева свято, Ждала, чтоб сон блаженство ей принес, Заранее восторгами объята: Святой Агнессы ночь и белые ягнята.

9

Но медлила она, полна мечтой...
Меж тем через холодную равнину
Сюда пришел Порфиро молодой,
Тая в душе любовную кручину, —
И у портала стал, наполовину
Укрывшись от луны в прозрачный мрак,
Он молится: увидеть Маделину
Хотя б на миг, приблизиться на шаг
И на колени пасть. Да, это было так.

10

Но если здесь, при всей его отваге, Он будет узнан — то тогда беда, Порфиро знает: засверкают шпаги, Два благородных дома навсегда Разъединяет кровная вражда. Кругом готова к драке и разбою Холопов кровожадная орда: Он будет оскорблен любым слугою. Одна старушка здесь к нему добра порою.

11

Счастливый случай! Вот она с клюкой Приковыляла темным коридором Туда, где он стоял, окутан мглой, Не обольщен ни музыкой, ни хором. Ее объял испуг, но тусклым взором Она его окинула тотчас

И прошептала юноше с укором:
«Спеши домой, Порфиро, скройся с глаз —
Весь кровожадный род пирует здесь как раз!

12

Здесь карлик Гильдебранд, — в припадках бреда Он часто проклинает в эти дни Тебя, и твоего отца, и деда, И даже землю всей твоей родни; Лорд Морис тут, старик, — и все они Тебе враги! Беги, мой мальчик милый!» — «Нет, тетушка, присядь и объясни Сначала все». — «О пресвятые силы! Коль не пойдешь за мной — ты на краю могилы».



13

Он двинулся за нею, низкий свод Плюмажем задевая то и дело. Старушка молвила: «Пришли, ну вот», — И в комнатку войти ему велела Под лестницей. В окно луна смотрела. «Где Маделина? — сдерживая страсть, Спросил Порфиро. — О, скажи, Анджела, Во имя дев, которым Божья власть Дозволила кудель Святой Агнессы прясть?»

14

«Святая ночь! Невинная Агнесса! Но эта ночь опасностей полна. Нет, не иначе, молодой повеса, Ты носишь воду в сите колдуна И с феями знаком. Изумлена Твоей отваге я. Помилуй, Боже! Где Маделина? Тешится она Игрою в заклинательницу. Что же, Ей весело — позволь и мне смеяться тоже».

15

Искрится смех в чертах ее лица.
Растет вниманье в юном господине —
Так завлекает бабка сорванца,
Мешая угли в гаснущем камине
И сказку оборвав на середине.
В глазах Порфиро светится вопрос:
Что хочется увидеть Маделине —
И, расспросив, сдержать не в силах слез:
Как сладко спит она в плену бесплотных грез.

16

Вдруг, сердце озарив желанным светом, На ум уловка дерзкая пришла, — Но, услыхав от юноши об этом, Старушка в изумленье обмерла: «Мне предлагать подобные дела Как ты посмел, исчадье преисподней? Я госпожу оберегу от зла — Прочь, нечестивец, я не стану сводней; Я думала, что ты гораздо благородней».

17

«О нет, — воскликнул юноша, — о нет!

Клянусь душой — греха не приумножу;
Пусть больше не взгляну на Божий свет,
Коль дивный сон на миг один встревожу
И хоть на шаг к ее приближусь ложу.
Анджела, сжалься, или я теперь
Последний путь к спасенью уничтожу
И криком разбужу весь дом, поверь —
Пусть каждый из врагов страшней, чем дикий зверь».

18

«О, горе мне, несчастной! Неужели Приблизить хочешь ты последний час Старухи немощной? Не о тебе ли Я истово молилась каждый раз — Чтобы тебя Господь хранил и спас?» Но в голосе Порфиро зазвучала

Такая страсть, что выполнить наказ Старушка наконец пообещала: Все сделает она во что бы то ни стало.

19

В опочивальню к девушке тайком
Он проскользнет, не проронив ни слова;
Там спрячется за полог и потом
Красавицу увидит без покрова;
И, может быть, блаженства неземного
В ночь волшебства добъется господин.
Подобного свидания ночного
Влюбленный не изведал ни один
С тех пор, как заплатил свой страшный долг Мерлин.

20

«Ну, будь что будет! Ночь Святой Агнессы! — Старушка молвила. — На пир ночной Все лакомства и все деликатесы Я принесу. За створкою дверной Увидишь лютню ты. Господь с тобой! Я так слаба и для устройства пира Не больно-то гожусь. Обет святой Ты дашь, что женишься на ней, Порфиро, — Иль нет покоя мне до преставленья мира!»

21

Она ушла. Взволнованный юнец Прождал минут неизмеримо много, Пока она вернулась наконец И позвала. Вдоль галерей дорога Во тьме вилась. Кругом жила тревога. Но вот они ступили на порог Одетого шпалерами чертога, Где молодой Порфиро скрыться мог, Старушку отпустив, не чуявщую ног.

22

Анджела шла по лестнице старинной, Держась рукой дрожащею своей, Когда из тьмы кромешной Маделина, Как ангелок, предстала перед ней С узорною свечой. Вдоль галерей Старушку тихо отвела девица В ее покой. Теперь держись смелей, Порфиро, — дева скоро возвратится: Она уже идет, она летит, как птица!

23

Свеча клонила пламень голубой.
В лучах луны скользил дымок лениво.
Девица дверь закрыла за собой,
Молчанье соблюдая терпеливо;
Но сердце... сердце стало говорливо,
Стучит в груди лилейной все сильней, —
Так бъется, умирая от надрыва,
В орешнике зеленом соловей,
Внезапно онемев пред гибелью своей.

24

В алькове девичьем высокой аркой Венчалось многоцветное окно, Диковинной, необычайно яркой, Тончайшею резьбой обрамлено: В ней прихотливо было сплетено Бесчисленное множество прекрасных Цветов — а в центре, алый, как вино, Был щит с эмблемой королей всевластных Средь тысячи гербов и надписей неясных.

25

В окне сияла полная луна, — И сверху падал отблеск багрянистый, — Когда молиться начала она. Он длани превращал в рубин лучистый, Вправлял в нагрудный крестик аметисты, И вкруг чела, как некоей святой, Соткал ей нимб. Казалось, ангел чистый Стоит — бескрыл, но окрылен мечтой. Порфиро обомлел пред этой красотой.

26

Но вскоре ожил. Дева молодая Прочла молитву до конца — и вот, Шелка и драгоценности бросая, Она почти нагою предстает, Как нереида, вставшая из вод, Воображенье деве рисовало

Агнессу — и теперь пришел черед По ритуалу лечь под покрывало. Но коль скосишь глаза — все волшебство пропало.



27

Она, дрожа, на ложе возлегла — И тело девичье тотчас сомлело От нежного, снотворного тепла; И, словно мысль, ее душа от тела До утренней денницы отлетела, — Так девушку сковал блаженный сон, Так древний свиток спит осиротело, Песком и солнцем надписей лишен, Так роза под дождем спит, превратясь в бутон.

28

Порфиро, в этот рай проникший тайно, В мечтах смотрел на брошенный наряд И слушал каждый вздох, когда случайно Вздыхала девушка, — и был он рад В молитвах возводить влюбленный взгляд При каждом вздохе. Но, страшась открыться, Ступил вперед, волнением объят, — Взглянул — и сердце стало чаще биться: Как безмятежно спит прекрасная девица.

29

И расстелил Порфиро в полумгле, У края ложа, скрытого от света, Парчовый плат на маленьком столе — Сей плат, имевший свойства амулета, Был ярко-красного, как пламя, цвета. Издалека донесся звук рожка, Литавры, приглушенный тон кларнета Коснулись слуха юноши слегка, — Но миг прошел, и вновь тревога далека.

30

А дева все спокойнее, все тише, Спала в сорочке, тонкой, как туман, — Пока Порфиро доставал из ниши Пунцовые, как солнечный шафран, Сладчайшие плоды из дальних стран; Душистый мед, искрящийся и жидкий. И Самарканд, и Смирна, и Ливан Благоухали здесь, прислав в избытке Дары своих садов и пряные напитки. Из темной ниши на парчовый плат Явилась драгоценная посуда.
И разливался пряный аромат В ночной, прохладной тишине, покуда Порфиро яства разложил на блюда. «Теперь проснись, мой чистый серафим, Открой глаза, пускай свершится чудо, — О, пробудись! Твой друг тоской томим — Иль он заснет сейчас последним сном своим».

32

Так прошептав, рукою осторожной Коснулся он ее закрытых век, — Но нет — разрушить чары невозможно. Их растопить трудней, чем горный снег, Чем лед, сковавший гладь широких рек; А лунный свет бледнел. Сказать короче, Казалось, не откроются вовек Девичьи зачарованные очи — Во власти колдовства необычайной ночи.

33

Порфиро лютню в руки взял тогда, Коснулся струн. Аккорд раздался длинный, Молчанье разрушая без следа:
«La belle dame sans merci» — напев старинный Встревожил слух прекрасной Маделины.

¹ Безжалостная красота (фр.).

Она во сне вздохнула — и напев Умолкнул. Оборвался сон невинный, — Сверкнули очи, в миг один прозрев, — А юноша застыл, как мрамор, побледнев.

34

Того, кто ей приснился, несомненно, Перед собой увидела она: Мучительно свершалась перемена, Почти прогнав очарованье сна — Красавица была изумлена И поскорей заснуть желала снова, Но медлила, волнения полна, Столь робким видя юношу младого, Что перед ней стоял, не говоря ни слова.

35

Она сказала: «Милый, что с тобой? В моих ушах еще не отзвучали Те клятвы, что шептал мне голос твой. И не было в твоих глазах печали — Они огонь прекрасный излучали... О, возврати, верни свой голос мне, Таким же стань, каким ты был вначале — Еще побудь со мной, в прекрасном сне, Не покидай меня в холодной тишине».

Такою речью сладостной Порфиро
Был зачарован и воспламенен.
Как яркая звезда среди эфира
Сверкнет, спеша взойти на небосклон,
Как в аромат, что розой порожден,
Вплетет фиалку нежную природа, —
Так он вошел в ее прекрасный сон.
А за окном — бушует непогода
И медленно луна спустилась с небосвода.

37

Темно. Зернистый снег стучит в стекло. «Нет, я не сон, мой ангел светоокий!» Темно. Метелью все заволокло. «Да, ты не сон! Зачем же в путь далекий Пустился ты? Кто так погряз в пороке, Что нас оставил в комнате вдвоем? Но знай, что покидаешь ты, жестокий, Лишь горлинку с надломленным крылом, — Тебя не прокляну... Но ты оставь мой дом!»

38

«О Маделина! Милая невеста! Моих очей светлейшая звезда! Я лишь затем проникнул в это место, Чтоб стать твоим вассалом навсегда, — Я пилигрим, и на пути сюда Мне встретились тревоги и ненастья,

Но ничего из твоего гнезда, Кроме тебя самой, не стану красть я, — Молю, доверься мне — пред нами годы счастья!

39

Чу! Слышишь голос вьюги колдовской. — Он нас зовет. Вставай, моя родная! Заря близка, и день не за горой, — Спеши за мной, сомнения не зная. — Скорей, в дорогу! Братия хмельная Не в силах ни подняться, ни взглянуть, Над кружками рейнвейна засыпая. Сквозь снег и вереск предстоит нам путь

На юг. где замок мой, где сможем отдохнуть».

40

И подчинилась Маделина. Скоро, Превозмогая робость и испуг, Она шагнула в темень коридора, Хотя чудовиш видела вокруг. За ней ступил ее влюбленный друг, И в сумраке рассвета мутно-сером Не доносился ни единый звук — Лишь сквозняки скользили по шпалерам, По вытканным на них галантным кавалерам.

41

Как призраки, в широкий темный зал Они прошли к железным балюстрадам У входа, где привратник мирно спал

С огромною пустой бутылкой рядом;
Пес приподнялся и окинул взглядом
Свою хозяйку. Снят с дверей замок,
Скользнула цепь — и вот конец преградам:
Свирепый страж, встряхнувшись, снова лег,
И юная чета ступила за порог.

42

О, сотни лет, должно быть, пролетели, — Следы влюбленных стерты, сметены... В ту ночь барон метался по постели, И всех его гостей душили сны: Вампиры, черти, ведьмы, колдуны. Анджела утром умерла от страха, Над ней молитвы были прочтены... Сто тысяч «Аve» не спасли монаха, И он заснул навек средь ледяного праха.

13-17 февраля 1819





КАНУН СВЯТОГО МАРКА

Воскресным день случился тот: К вечерней службе шел народ, И звон был праздничным вдвойне. Обязан город был весне Своею влажной чистотой, Закатный отблеск ледяной Был в окнах слабо отражен. Напоминал о свежих он Долинах, зелени живых Оград колючих, о сырых, В густой осоке, берегах. О маргаритках на холмах. И звон был праздничным вдвойне: По той и этой стороне Безмолвной улицы народ Стекался к церкви от забот, От очагов своих родных, Степенен, набожен и тих. Вдоль галерей, забитых сплошь, Струилось шарканье подошв И крался шепот прихожан. Гремел под сводами орган.

И служба началась потом, А Берта все листала том; Волшебный, как он был помят, Зачитан, как прилежный взгляд Пленял тисненьем золотым! Она с утра, склонясь над ним, Была захвачена толпой Крылатых ангелов, судьбой Несчастных, скорченных в огне, Святыми в горней вышине, Ей Иоанн и Аарон Волшебный навевали сон, Ей лев крылатый явлен был, Ковчег завета, что таил Немало тайн — и среди них Мышей, представьте, золотых.

На площадь Минстерскую взгляд Скосив, она увидеть сад Могла епископский в окне, Там вязы, к каменной стене Прижавшись, пышною листвой Превосходили лес любой. — Так зелень их роскошных крон Защищена со всех сторон От ветра резкого была. Вот Берта с книгой подощла К окну — и, лбом к стеклу припав, Прочесть еще одну из глав Успеть хотела — не смогла: Вечерняя сгустилась мгла. Пришлось поднять от книги взгляд, Но строк пред ним теснился ряд, И краска черная плыла, И щея больно затекла. Был тишиной поддержан мрак, Порой неверный чей-то шаг

Был слышен — поздний пешеход Брел мимо Минстерских ворот.

И галки, к вечеру кричать Устав, убрались ночевать, На колокольнях гнезда свив, И колокольный перелив, Церковный сонный перезвон Не нарушал их чуткий сон.

Мрак был поддержан тишиной В окне и в комнате простой, Где Берта, с лампы сдунув пыль, От уголька зажгла фитиль И книгу к лампе поднесла, Сосредоточенно светла. А тень ее ложилась вбок. На кресло, балку, потолок, Стола захватывая край, На клетку — жил в ней попугай, — На разрисованный экран, Где средь чудес из дальних стран: Сиамской стайки голубей, Безногих райских птиц, мышей Из Лимы — был прелестней всех Ангорской кошки мягкий мех. Читала, тень ее меж тем Накрыла комнату, со всем, Что было в ней, и вид был дик, Как если б в черном дама пик Явилась за ее спиной Вздымать наряд угрюмый свой. Во что же вчитывалась так?

Святого Марка каждый шаг, Его скитанья, звон цепей На нем — внушали жалость ей. Над текстом звездочка порой Взгляд отсылала к стиховой Внизу страницы стае строк, Казалось, мельче быть не мог Узор тончайших букв — из них Чудесный складывался стих:

«Тому, кто в полночь на порог Церковный встанет, видит Бог. Дано узреть толпу теней, Печальней нет ее, мертвей, Из деревень и городов, Из хижин ветхих, из дворцов К святому месту, как на суд, Чредой унылой потекут; Итак, во тьме кромешной он Увидит тех, кто обречен. Сойдутся призраки толпой Во тьме полуночи слепой, Стекутся те со всех сторон, Кто смертью будет заклеймен, Кто неизбежно в этот год. В один из дней его, умрет... Еще о снах, что видят те, Кто спит в могильной черноте, Хотя их принято считать Слепыми, савану под стать: О том, что может стать святым Дитя, коль мать, брюхата им, Благоговейно крест святой В тиши целует день-деньской; Еще о том, кем спасены

Мы будем все; без сатаны
Не обойтись; о, много есть
Тайн — все не смеем произнесть;
Еще жестока и скупа
Святой Цецилии судьба,
Но ярче всех и днесь и впредь
Святого Марка жизнь и смерть».
И с состраданьем молодым
К его мучениям святым
Она прочла об урне той,
Что средь Венеции златой
Вознесена...

13 — 17 февраля 1819

ПЕСЕНКА ЭЛЬФА

Вытри слезы! Час придет — И снова роза расцветет. Вытри слезы! Прочь тоска! Бутоны спят в корнях цветка. А я пою! Тебе пою! Недаром я узнал в раю, Как душу облегчить свою! Так прочь тоска!

Глянь на небо! В высоту!
Глянь на дерево в цвету!
Здесь я, вспорхнувши над сучком,
Звеню серебряным звонком!
Тебе пою! И радость шлю!
И всех скорбящих исцелю!

Прощай! Прощай! Не унывай! Лечу в лазурный дальний край... Прощай! Прощай!

15(?) марта 1819

«Обитель Скорби» (автор — мистер Скотт)
И проповедь в приюте Магдалины,
И спор высокоумный у вершины
Крутой горы, где друг теперь живет;
И хмель от пива, и обширный свод
Нарядных рифм, и тут же автор чинный,

И Хейдоновой будущей картины Величье, и вершина шляпных мод,—
О как в партере маешься за нею! —

И Кольриджа басок, и чахлый след Слезинки на бульварной ахинее — Весь этот несусветный винегрет

На что уж дрянь, но Вордсворта сонет О Дувре — Дувр! — пожалуй, подряннее!

(Апрель 1819)

[ХАРАКТЕР ЧАРЛЗА БРАУНА]

Сей юноша, задумчивый на вид,
С воздушным станом, с пышной шевелюрой —
Как одуванчик, прежде чем в зенит
Венец его развеют белокурый
В игре с Зефиром резвые Амуры.

На подбородке легонький пушок Едва пробился — и печатью хмурой Физиономию всесильный рок Отметить не успел: румян он, как восток.

Не брал он в рот ни хереса, ни джина, Не смешивал ни разу в чаше грог; Вкусней приправ была ему мякина; И, презирая всей душой порок, С гуляками якшаться он не мог, От дев хмельных бежал быстрее лани К воды потомкам: мирный ручеек Поил его — и, воздевая длани, Левкои поедал он в предрассветной рани.

Несведущий, он в простоте святой Не разумел привольного жаргона Столичных переулков, немотой Сражен перед красоткой набеленной, Осипшею, но очень благосклонной; Не появлялся он в глухих углах, Где дочери кудрявые Сиона Надменно выступают на ногах, Гремя цепочками и попирая прах.

16 апреля 1819





LA BELLE DAME SANS MERCI'

БАЛЛАДА

I

Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты Один, угрюм и бледнолиц? Осока в озере мертва, Не слышно птиц.

П

Какой жестокою тоской Твоя душа потрясена? Дупло у белки уж полно, И жатва убрана.

Ш

Бледно, как лилии, чело, Морщины — след горячих слез. Согнала скорбь со впалых щек Цвет блеклых роз.

¹ См. вступ. ст., примеч. к с. 263.

IV

Я встретил девушку в лугах — Дитя пленительное фей, Был гибок стан, воздушен шаг, Дик блеск очей.

v

Я сплел венок. Я стройный стан Гирляндами цветов обвил, И странный взгляд сказал: люблю, Вздох томен был.

VI

И долго ехали в лугах
Мы с нею на моем коне,
И голос, полный странных чар,
Пел песню-сказку мне.

VII

Понравились ей — дикий мед И пища скромная моя. И голос нежный мне сказал — «Люблю тебя».

VIII

Мы в грот ее вошли. Там я Ее рыданья услыхал. И странно дикие глаза Я целовал.

IX

Там убаюкала затем
Она меня — о, горе мне! —
Последним сном забылся я
В покинутой стране.

X

Смертельно-бледных королей И рыцарей увидел я. «Страшисы La Belle Dame sans Merci Владычица твоя!»

ΧI

Угрозы страшные кричал Хор исступленных голосов. И вот — проснулся я в стране Покинутых холмов.

XII

Вот почему скитаюсь я Один, угрюм и бледнолиц, Здесь по холмам... Трава мертва. . Не слышно птиц.

21 апреля 1819



Два букета приличных И три сорных травки, Два-три носа античных И две-три бородавки. Два-три знатока И два-три дуралея, Два-три кошелька И одна гинея. Два-три раза чуть-чуть В две-три стукнуть калитки, Две минуты вздремнуть Две-три попытки. Два-три рыжих кота И два серых мышонка,

Два щенка без хвоста
И два-три котенка.
Две селедки соленых,
Две-три звездочки в небе,
Два-три франта влюбленных
И две миссис — тсс! — Эбби.
Две-три милых усмешки,
Два-три вздоха примерно,
Две-три мили в спешке
И две-три таверны.
Два гвоздя очень длинных
Для двух шляпок изящнейших,
Два яйца голубиных
Для сонетов приятнейших.

1(?) мая 1819

ЛАМИЯ

ЧАСТЬ І

В те дни, когда крылатых фей отряды Еще не возмутили мир Эллады, Не распугали нимф в глуши зеленой; Когда державный скипетр Оберона, Чье одеянье бриллиант скреплял, Из рощ дриад и фавнов не изгнал, — В те дни, любовью новой увлеченный, Гермес покинул трон свой золоченый, Скользнул с Олимпа в голубой простор И, обманув Зевеса грозный взор, Спасительными тучами сокрытый, Унесся к берегам священным Крита. Пред нимфой, обитавшей там в лесах. Все козлоногие склонялись в прах; У ног ее, вдали от волн, тритоны Жемчужины роняли истомленно. По тайным тропам, близ ее ручья, Где плещется прохладная струя, Столь щедрые являлись приношенья, Что равных нет в ларце воображенья. «О, что за мир любви подвластен ей!» --Гермес воскликнул; тотчас до ушей От пят крылатых жар проник небесный; Лилейных раковин извив чудесный Зарделся розой в завитках златых. Спадавших прядями до плеч его нагих. К лесам и долам островного края, Цветы дыханьем страсти овевая, Он устремился — у истоков рек Найти возлюбленной невидимый ночлег. Но нет ее нигде! Под сенью бука Остановился он, охвачен мукой, Ревнуя деву и к лесным богам, И к яворам, и к вековым дубам. Донесся до него из темной чаши Печальный голос, жалостью томящей Отзывчивое сердце поразив: «О если б, саркофаг витой разбив, Вновь во плоти, прекрасной и свободной, Могла восстать я к радости природной И к распре огненной уст и сердец! О горе мне!» Растерянный вконец. Гермес бесшумно бросился, стопами Едва касаясь стебельков с цветами: Свиваясь в кольца яркие, змея Пред ним трепещет, муки не тая.

Казалось: узел Гордиев пятнистый Переливался радугой огнистой. Пестрел как зебра, как павлин сверкал — Лазурью, чернью, пурпуром играл. Сто лун серебряных на теле гибком То растворялись вдруг в мерцанье зыбком, То вспыхивали искрами, сплетясь В причудливо изменчивую вязь. Была она сильфидою злосчастной, Возлюбленною демона прекрасной Иль демоном самим? Над головой Змеиною сиял созвездий рой Убором Ариадны, но в печали Ряд перлов дивных женские уста скрывали. Глаза? Что оставалось делать им? --Лишь плакать, плакать, горестно немым: Так Персефона плачет по полям родным. Отверзся зев змеи - но речи, словно Сквозь мед. звучали сладостью любовной. В то время как Гермес парил над ней, Как сокол над добычею своей.

«Гермес прекрасный, юный, легкокрылый! Ты мне привиделся во тьме унылой: На троне олимпийском, средь богов, В веселии торжественных пиров, Задумчиво сидел ты, не внимая Напевам Муз, когда струна златая Дрожала нежно: горестью томим, Пред Аполлоном был ты нем и недвижим. Во сне моем спешил ты на свиданье: Подобен утру, в алом одеянье, Стрелою Феба тучи пронизав, На критский берег ты летел стремглав.

Ты встретил деву, вестник благородный?» Гермес — над Летой светоч путеводный — Змею тотчас же пылко вопросил: «Посланница благая вышних сил! Венец, извитый с дивным совершенством! Владей, каким возжаждется, блаженством. — Скажи мне только, где она таит Свое дыханье!» — «Клятва пусть скрепит Посул, произнесенный Майи сыном!» — «Я кадуцеем поклянусь змеиным, — Вскричал Гермес. — тиарою твоей!» Легко его слова летели меж ветвей. Чудесная змея проговорила: «О нежный бог, твоя любовь бродила, Вольна как ветр, по долам и лесам, Невидима завистливым очам. Незримо странствуя по тропам мшистым. Она в потоке плещется сребристом; С дерев, склоненных у прозрачных вод, Невидимой рукой срывает плод. Волшебный дар мой — красоте защита: Моими чарами она укрыта От похоти Силена, от лихих Забав сатиров в зарослях глухих. Истерзанная страхами богиня Скиталась бесприютно, но отныне, Магической росой умащена, От домогательств жадных спасена. Среди дубрав — повсюду, где угодно — Ей дышится отрадно и свободно. Исполни свой обет, Гермес, — и ты Узришь ее желанные черты!» Бог, страстью очарован, уверенья Возобновил — и жаркие моленья Ласкали слух змеи, как горние хваленья.

Она главу Цирцеи подняла, Зардевшись пламенем, произнесла: «Я женшиной была — позволь мне снова Вкусить восторги бытия земного. Я юношу коринфского люблю: О, дай мне женщиной предстать пред ним, молю! Дыханием я твой овею лик ---И нимфу ты увидишь в тот же миг». Гермес приблизился, сложив крыла; Змея его лыханьем обожгла — И нимфа им предстала, словно день, светла. То явь была — иль сон правдивей яви? Бессмертен сон богов — и в долгой славе Текут их дни, блаженны и ясны. Гермес одно мгновенье с вышины Взирал на нимфу, красотой сраженный; Ступил неслышно на покров зеленый — К змее, без чувств застывшей, обернулся, Жезлом извитым головы коснулся. Потом, исполнен нежности немой, Приблизился он к нимфе молодой. Ущербную луну напоминая, Пред ним она потупилась, рыдая: Склонилась, как свернувшийся бутон В тот час, когда темнеет небосклон; Но бог ее ладони сжал любовно: Раскрылись робкие ресницы, словно Цветы, когда, приветствуя восход, Они жужжащим пчелам дарят мед. Исчезли боги в чаще вековечной: Блаженство лишь для смертных быстротечно.

Змея меж тем меняться начала: Кровь быстрыми толчками потекла

По жилам: пена, с жарких губ срываясь. Прожгла траву, от муки задыхаясь, Она взирала немо — и в глазах Сухих, забывших о благих слезах, Метались искрами страдание и страх. Изогнутое тело запылало Окраской огненной, зловеще-алой: Орнамент прихотливый скрылся вдруг — Так лава затопляет пестрый луг: Исчез узор серебряно-латунный; Померкли звезды, и затмились луны; Погас наряд диковинно-цветной И пепельной застлался пеленой: Совлекся медленно покров лучистый: Сапфиры, изумруды, аметисты Растаяли, тускнея, и одна Осталась боль — уродлива, бледна. Мерцала диадема еле зримо — И вот, во тьме дубрав неразличима, Слилась с туманом; слабый ветерок Развеял возглас: нежен и далек. «О Ликий, Ликий!» — над пустой равниной Пронесся он и смолк за дальнею вершиной.

Куда исчезла Ламия? Она, Вновь во плоти прекрасной рождена, На полпути к Коринфу, где полого Ведет с кенхрейских берегов дорога К холмам крутым, свергающим ручьи — Святые пиэрийские ключи — У кряжа горного (грядой отвесной Он тянется, туманной и безлесной) Вплоть до Клеонии, на самый юг. Там опустилась Ламия на лут — И, слыша в роще быстрое порханье,

Среди нарциссов затаив дыханье, Склонилась над прудом — узнать скорей, Пришло ли избавленье от скорбей.



О Ликий, счастлив ты; с ней не сравнится Никто из дев, что, опустив ресницы И платье расправляя, меж цветов Садятся слушать песни пастухов. Невинные уста — но сердце знало Любви науку с самого начала. Едва явилась — острый ум отторг От горя неразлучный с ним восторг, Установил их вздорные пределы, Взаимопревращения умело В обманчивом каосе отыскал, Частицы разнородные связал, — Как если б Купидона обученье Она прошла, но в девственном томленье, Покоясь в праздности, не знала вожделенья.

В свой час узнаете, зачем она В задумчивости здесь стоит одна, Но надобно поведать вам сначала, О чем она плененная мечтала, Куда рвалась из пут змеиных прочь, Где в грезах пребывала день и ночь: То ей Элизий представал туманный; То как спускается к богине океана Сонм нереид по волнам утром рано; То Вакх, что под смолистою сосной Неспешно осущает кубок свой; Сады Плутона, сонная прохлада — И вдалеке встает Гефеста колоннада. То в города неслась ее мечта — И там, где шум пиров и суета, Среди видений бытия земного, Коринфянина Ликия младого Увидела. Упряжкою своей, Как юный Зевс, он правил. Перед ней Затмился свет — и сердце страсть пронзила... В Коринф вернуться должен Ликий милый Дорогой этой в сумеречный час, Чуть мотыльки начнут неслышный пляс. С востока ветер дул, и у причала Галеру медленно волна качала, О камни тихо шаркал медный нос. В эгинском храме юноша вознес Моленья Зевсу — там, где за порталом Курится жертвенник под тяжким покрывалом. Его обетам громовержец внял; Путь одинокий юноща избрал. Отстав от спутников, чьи речи стали Ему несносны; по холмам вначале Шагал бездумно Ликий — но, когда Затеплилась вечерняя звезда, В мечтаньях ввысь унесся он, где тени Вкущают мир Платоновых селений. Приблизился он к Ламии — и вот, Рассеян, мимо, кажется, пройдет: Сандалии шуршат по тропке мшистой. Незрима Ламия в долине мглистой; Следит за ним: прошел, укрыт плащом,

Окутан тайной. Нежным голоском Вослед ему она заговорила: «Оборотись, прекрасное светило! Ужель одну оставишь ты меня? Взгляни же, сострадание храня». Он поглядел — о нет, не изумленно. А как взглянуть бы мог Орфей влюбленно На Эвридику: мнилось, этих слов Давным-давно впивал он сладкий зов. Он красоту ее самозабвенно До дна испил, но в чаше сокровенной Не убывало; в страхе, что сейчас Она исчезнет, скроется из глаз, Он волю дал восторженному слову (И стало ясно ей — он не порвет оковы): «Тебя оставить? Нет, богиня, нет! Забыть ли глаз твоих небесный свет? Из жалости не покидай: едва ли Смогу я жить, отвергнутый, в печали, Коль ты наяда — каждый ручеек Тебе послушен будет, хоть далек; Коль ты дриада — утренней порою Напьются сами заросли росою: А если ты одною из Плеяд Сошла на землю, гармоничный лад Поддержат сестры, в вышине сверкая. В твоем привете музыка такая Мне слышится, что тотчас без нее Навек мое прервется бытие. Молю, не покидай!» — «В земной юдоли Мне стопы тернии пронзят до боли. В твоей ли власти заменить мне дом, Тоску умерить сладкую о нем? Как мне бродить с тобою по долинам — Безрадостным, холодным и пустынным,

Как мне забыть бессмертия удел? Ученостью ты. Ликий, овладел И должен знать, что духи сфер блаженных Не в силах жить, дышать в оковах бренных. О бедный юноша, ты не вкушал Нектара, светом горним не дышал! Есть у тебя дворцы, где анфилада Покоев дарит утешенье взгляду И прихотям моим бесчисленным отраду? Нет-нет, прощай!» Простерла руки ввысь, Еще мгновенье — с ней бы унеслись Любви необоримой упованья, Но он поник без чувств от горького терзанья. Жестокая, все так же холодна (Хотя бы тень раскаянья видна Была в глазах, сверкнувших пылом страсти), Устами, вновь рожденными для счастья. В его уста жизнь новую влила — Ту, что искусно сетью оплела, Из одного забвения в иное Он пробужден — и слышит неземное Звучанье голоса, в блаженстве и покое Дарующего ласковый привет: И звезды слушали, лия дрожащий свет. Потом, в волнении сжимая руки — Как те, кто после длительной разлуки Наговориться, встретившись, спешат — Она, чтоб вытравить сомнений яд, Дрожащим шепотом его молила Сомненья отогнать, затем что в жилах У ней струится трепетная кровь, А сердце безграничная любовь, Точь-в-точь как у него, переполняет. Дивилась, что в лицо ее не знает: Коринфянам ее богатый дом,

Довольства полный, хорошо знаком. Ей золото блага земли дарило. И одиночество не тяготило, Но вот случайно увидала: он У храма Афродиты, меж колонн. Среди корзин, гирлянд и свежесжатых Цветов и трав (курились ароматы: Был празднества Адониса канун) Задумчиво стоял, красив и юн... С тех пор в тоске о нем сменилось много лун. И Ликий от смертельного забвенья Очнулся, снова полон изумленья; Внимая сладостным ее речам, Он женшину, себе не веря сам, Зрел пред собою — и мечтой влюбленной Летел к восторгам, страстью окрыленный. Вольно безумцам в рифмах воспевать Фей иль богинь плень: приную стать: Озер ли, водопадов ли жилица Своими прелестями не сравнится С тем существом прекрасным, что ведет От Пирры иль Адама древний род. Так Ламия разумно рассудила: Страх вреден для восторженного пыла; С себя убор богини совлекла — И женщиной, застенчиво мила, Вновь сердце Ликия завоевала Тем, что, сразив, спасенье обещала. Красноречиво Ликий отвечал И со словами вздохи обручал. На город указав, спросил в тревоге, Страшится ли она ночной дороги. Но путь неблизкий, пройденный вдвоем, Ее нетерпеливым волшебством До нескольких шагов укоротился:

Влюбленный Ликий вовсе не дивился Тому, как оказались у ворот, Как незаметно миновали вход.



Как в забытьи бессвязный лепет сонный, Как смутный рокот бури отдаленной, В дворцах и храмах, освящавших блуд, По переулкам, где толпился люд, Во всем Коринфе гул стоял невнятный. Сандалии прохожих в час закатный О камень шаркали; меж галерей Мелькали вспышки праздничных огней, Отбрасывая пляшущие тени На стены, на широкие ступени: Тревожно тьма металась по углам, Гнездилась средь колонн у входа в шумный храм.

Закрыв лицо, он руку сжал любимой, Когда прошел величественно мимо С горящим взором старец, облачен В философа поношенный хитон. В широкий плащ закутавшись плотнее, Поспешно прочь стремится Ликий с нею; Дрожь Ламию охватывает вдруг: «Любимая, откуда твой испут? Твоя ладонь росой покрылась влажной». — «Нет больше сил... Кто этот старец важный?

Не вспомнить мне никак его черты. О Ликий, почему укрылся ты От взгляда острого в тоске безмерной?» — «То Аполлоний — мой наставник верный. Он муж ученый, но в мой сладкий сон, Как злобных бредней дух, сейчас ворвался он». Меж тем крыльцо пред Ликием предстало С колоннами у пышного портала; Сияние светильника текло На темный мрамор — гладкий как стекло — И в нем звездой мерцало отраженной; Переплетались вязью утонченной Прожилки в камне дивной чистоты: Воистину богиня красоты Могла ступать по ровным плитам пола. С волшебною мелодией Эола Дверь отворилась в царственный покой, Сокрывший их от суеты мирской. Уединенье слуги разделяли — Немые персы: их подчас видали В базарном гвалте, но никто не мог Проведать, где хозяев их порог. Но, истины во славу, стих летящий Расскажет о печали предстоящей, Хоть многие желали бы сердца Покинуть любящих в неведенье конца.

ЧАСТЬ ІІ

Любовь и черствый хлеб средь нищих стен — Прости, Амур! — есть пепел, прах и тлен. Подчас любовь — и в золото одета — Мучительней поста анахорета. Сказания из призрачной страны

Непосвященным чужды и темны.
Поведай Ликий о себе хоть слово —
Нахмурилась бы нравственность сурово,
Но столь недолгим был восторга час,
Что не послышался шипящей злобы глас.
Сам Купидон от ревности мгновенной
К блаженству пары этой совершенной
Над створом двери, что в покой вела,
Парил, раскрыв шумящие крыла,
И полночи вокруг рассеивалась мгла.

Но вот пришла беда: перед закатом — За пологом, прозрачно-розоватым (Подвещенный на нити золотой, Колеблем ветром, он вплывал в покой Меж мраморных колонок, открывая Голубизну эфира), — созерцая Друг друга сквозь ресницы в полусне, На ложе, как на троне, в тишине Любовники покоились счастливо. Но тут донесся вдруг нетерпеливо, Веселый щебет ласточек смутив, Сторожевой трубы пронзительный призыв. Очнулся Ликий: звук не повторился, Но мыслей рой тревожный оживился. Впервые он пурпуровый чертог, Где обитал пленительный порок. Душой обеспокоенной покинул, Стремясь в тот шумный мир, что сам отринул. У Ламии приметливой тотчас Невольно слезы полились из глаз. Она державой радостей владела, Но Ликия блаженство оскудело: Уйдя в раздумье, отдалился он... Над страстью чудился ей погребальный звон.

«О чем ты плачещь, дивное творенье?» — «О чем твое, скажи мне, размышленье? Оставил ты меня — и тяжело Легла забота на твое чело. В твоей груди мне места нет отныне». Воскликнул он: «В твоих зрачках, богиня. Себя я созерцаю, как в раю; Мечтаю страстно, чтоб любовь свою Воспламенить рубиновым гореньем. Каким твое мне сердце ухищреньем В ловушку заманить и взять в полон — Таить, как аромат таит бутон? До дна испить блаженство поцелуя? Узнать ты хочешь, что в душе храню я? От любопытных восхищенных глаз Никто не в силах редкий скрыть алмаз, Пред замершей толпой не возгордиться! Хочу я изумленьем насладиться Взволнованных коринфян. Пусть скорей, Встречаемы приветствием друзей И недругов досадою открытой, На улице, гирляндами увитой, Мы в колесницу брачную взойдем Перед Гимена шумным торжеством». Но Ламия упала на колени: Не сдерживая жалобных молений, Ломала руки, горем сражена. Переменить намеренье она Возлюбленного пылко заклинала. Задет он был и удивлен немало. Но кроткую строптивицу склонить К согласию желал — и, может быть, Невольно властью упивался новой Терзать и речью бичевать суровой. Разгневанный ее упорством, он

Стал так прекрасен, точно Аполлон В тот миг, когда, Пифона поражая, Вонзилась в пасть змеи стрела златая. Змеи? О нет! Змея ли перед ним? Безропотно со жребием своим Она смирилась, юноше покорна, Во власть любви отдавшись непритворно. Он прошептал в полночной тишине: «Открой же имя сладостное мне! Не спрашивал о нем я, почитая Тебя богиней. Гостья неземная. Как среди смертных ты наречена? Заздравный кубок алого вина Поднимут ли друзья твои высоко, Родные соберутся ль издалека?» — «Нет у меня на свете никого. Кто б мог придти на это торжество. Безвестна я в Коринфе многолюдном. Отец и мать навеки беспробудным Почили сном. Их пыльный склеп забыт. Над урнами лампада не горит: Одна осталась я в роду злосчастном. Из-за тебя в порыве сладострастном Презрела я завещанный обряд. Зови гостей, но если нежный взгляд Имеет власть, как прежде, над тобою — Пусть Аполлоний с праздничной толпою Не переступит свадебный порог». Смутился Ликий, но никак не мог Добиться объясненья слов столь странных. — И вдруг умолк в объятьях сна нежданных.

Обычай был: пред брачным торжеством Невеста покидала отчий дом В час предзакатный, под фатою скрыта. Вслед колеснице радостная свита Бросала с песнопеньями цветы... Но. Ламия, как одинока ты! Без Ликия (отправился он вскоре На пир сзывать родню), в безмерном горе, Отчаявшись безумца убедить Любовь от глаз завистливых таить, Она решилась с ревностною страстью Придать великолепие несчастью. Откуда к ней явилось столько слуг И кто они — не знал никто вокруг. Под шум незримых крыл зажегся ярким Сияньем зал. Неслась к высоким аркам Томительная музыка — она, Казалось, держит в воздухе одна, Стеная от мучительной тревоги, Воздвигнутые волшебством чертоги. Панель из кедра отражала строй Высоких пальм: они над головой Вершинами сплелись, и в пышных кронах Зажглись светильники среди ветвей зеленых. Роскошный пир под лиственным шатром Благоуханья источал. Весь дом Она прошла — тиха, бледна, бесстрастна, В наряде дивном царственно прекрасна. Невидимым прислужникам своим Велит изображением резным Ветвей из мрамора и яшмы темной Украсить каждый уголок укромный. Довольная убранством, в свой покой Она взощла, наедине с тоской Укрылась в тишине уединенья — И там со страхом стала ждать вторженья Гостей зловещих, буйным кутежом Готовых возмутить затворнический дом.

Вот час настал для толков суесловных. Злосчастный Ликий! Тайну нег любовных, Счастливого безмолвия удел — Зачем, глупец тщеславный, ты презрел? Явилось стадо: шумною гурьбою Теснясь у входа, с завистью тупою Глазели гости на роскошный дом, Вознесшийся мгновенным волшебством. На улице, с младенчества известной Всем обитателям застройкой тесной, Возник дворец диковинно-чудесный. Недоуменно внутрь они спешат; Но средь вошедших некто острый взгляд В убранство дивное вперил сурово, Ступил на мрамор, не сказав ни слова, Угрюм и строг — то Аполлоний был. Холодную усмешку он таил. Как будто мгла запутанного дела Пред мыслью зоркой таяла, яснела.

У входа Ликий встретился ему... «Являться не пристало никому На пир счастливый гостем нежеланным, И все-таки присутствием незваным Смущу веселье юношей и дев — И ты простишь мне!» Ликий, покраснев, Склонил чело: философа брюзгливость Рассеяла горячая учтивость.

Вступают вместе в пиршественный зал. Благоуханий полон, он сиял Торжественно зажженными огнями. В панелях ярко отражалось пламя Светильников: затейливо вились Курений струйки, устремляясь ввысь С треножников священных, что, подъяты Над мягкими коврами, ароматы Распространяли: ровно пятьдесят Курильниц с миррой выстроилось в ряд. Вдоль стен зеркальных к потолку взлетая, Дымки сплетались и двоились, тая. Овальные столы вознесены На львиных лапах и окружены Удобным ложем; радостно мерцало Вино, внесенное из тьмы подвала; Блестели чаши, грузно-тяжелы. От яств ломились пышные столы, Щедрей даров Церериного рога — И каждый освящен изображеныем бога.

Рабы, гостей в прихожей обступив, Им волосы маслами умастив, Отерли члены губкой благовонной — И, облачившись в белые хитоны, Все двинулись для пиршества возлечь На шелк, ведя придирчивую речь Вполголоса, никак не понимая, Откуда вдруг взялась обитель неземная.

Чуть слышно музыка плыла вокруг, И разносился мелодичный звук Напевной речи эллинской, сначала Негромкой, но как только развязала Язык струя блаженная, гостям Ударив в голову, поднялся гам; Сильнее загремели инструменты — И вот диковинные позументы
Завес тяжелых, весь просторный зал,
Что роскошью невиданной сиял,
И Ламия в прекрасном облаченье
Уже не повергают в изумленье.
Спасительное, райское вино!
Влаженством оделяешь ты одно.
В зенит вознесся Вакх, воспламеняя
Огнем глаза и щеки. Дверь резная
Раскрылась — и невольники внесли
От Флоры пышный дар — наряд земли:
Цветов охапки из лесной долины
Переполняли яркие корзины,
Сплетенные из прутьев золотых —
Пирующим венки для прихотей любых.

Какой венок для Ламии? Какой — Для Ликия? Каким мудрец седой Увенчан будет? Папоротник с ивой Пусть оттеняют взор ее тоскливый; Пусть лозы Вакха юноша возьмет — Он в них забвенье страхов обретет; Над лысым лбом философа колючий Чертополох пускай с крапивой жгучей Чинят раздоры. От прикосновенья Холодной философии — виденья Волшебные не распадутся ль в прах? Дивились радуге на небесах Когда-то все, а ныне — что нам в ней, Разложенной на тысячу частей? Подрезал разум ангела крыла, Над тайнами линейка верх взяла. Не стало гномов в копи заповедной — И тенью Ламия растаяла бесследной.

Вот. сидя с ней в возглавии стола, Сиастливый Ликий от ее чела Глаз не отводит, но, оцепененье Любви стряхнув, он через стол в смущенье Украдкой посмотрел: там хмурый лик К ним обратил моршинистый старик. Хотел он кубок, полный до краев, Поднять за мудреца, но столь суров Был взгляд учителя неблагосклонный. На юную невесту устремленный, Что, трепеща, поникла та без сил. В тревоге Ликий за руку схватил Свою невесту. Холодом могилы Ему на миг оледенило жилы, Потом жестокий жар вонзился в грудь... «О Ламия, ответь же что-нибуды! Испугана ты — чем? Тебе знаком он?» Забыв про все, не слыша гвалт и гомон, В глаза он впился, смотрит: как чужая, Глядит она, глядит, не узнавая, По-прежнему недвижна и бледна — Как будто колдовством поражена. Вскричал он: «Ламия!» В ответ — молчанье... Заслышав крик неистовый, собранье Притихло; смолк величественный лад. Еще звучала лютня невпопад, Но мирт в венках увял — и постепенно Безмолвье воцарилось. Запах тлена По зале пробежал — и все вокруг Смертельную тоску почувствовали вдруг. Он снова: «Ламия!» В порыве диком — Отозвалось лишь эхо слабым вскриком. «Стинь, мерзкий сон!» — он возопил в слезах, Вгляделся вновь: не бъется на висках Лазурной нитью жилка; краски нежной

На коже шек не видно белоснежной: Запали глубоко глаза в глазницы: Застыли, как у мертвой, острые ресницы. «Прочь, ты — жестокосердый! Прочь, палач! Скрой лживые глаза, скорее спрячы! Иль кара справедливая богов. Невидимо вступающих под кров, Пронзит тебя внезапной слепотой. Оставит в корчах совести больной. — За то, что ты, бесчестный и презренный, Гордыней нечестивой, дерзновенной Могущество благое попирал, Обманом изощренным оскорблял. Коринфяне! Взгляните на злодея: Под веками, безумьем адским рдея. Взор демона горит... И нет укрытья Любви моей... Коринфяне, взгляните!»— «Глупеці» — с презрением софист изрек Охрипшим голосом — и, словно рок Свершился неизбежный, с жалким стоном Пал Ликий перед призраком склоненным. «Глупец! — вновь Аполлоний произнес, Глаз не спуская с Ламии. — От гроз И бедствий жизни я тебя спасал Затем ли, чтоб змеи ты жертвой стал?» При слове том у Ламии несчастной Дух захватило: беспощадно-властный Разил ее, как пикой, острый взор. Рукою слабой смертный приговор Молила не произносить — напрасно! Софист суровый с ясностью ужасной «Змея!» воскликнул громко... В этот миг Послышался сердца пронзивший крик ---И Ламия исчезла... Упоенье Ушло от Ликия, и в то ж мгновенье

Угасла жизнь... Друзьями окружен, Простерт на ложе без движенья он: И обернули тело в свадебный хитон.

Конец июня — начало сентября 1819



Сидят, вращая томными очами, Вздыхают, зябко поводя плечами, Крошат в задумчивости свой бисквит, Забыв про чай, забыв про аппетит. Глянь, размечтались! — вот народ блаженный! Пусть уголь догорел — им невдомек Позвать служанку, дернув за звонок. В молочнике барахтается муха, Она жужжит так жалостно для слуха! Средь стольких сострадательных людей Ужель погибнуть ей? Нет! Мистер Вертер со слезой во взоре К ней тянет ложку помощи — и вскоре, Из гибельной пучины спасена,

В родной эфир стремит полет она. Ромео, встаны! Ты видишь, как в шандале,

Зловещий знак! «О боже! Мне к семи —

Потрескивая, свечи замигали?

В дом семь, на Пиккадилли! Черт возьми!» — «Ах, не отчаивайтесь так ужасно, Мой друг! Сюртук сидит на вас прекрасно! Весьма прелюбопытно было б знать, Где ваш портной живет». — «Да-да, бежать! Скорей! О ужас! Я сойду с ума!.. Согласен с вами, сэр, — весьма, весьма!»

17-27 сентября 1819



ИЗ ПОЭМЫ «ПАДЕНИЕ ГИПЕРИОНА. ВИДЕНИЕ»

...Не знаю, сколько пролежал я так.
Когда же я очнулся и воспрянул,
Прекрасные деревья и поляна
Исчезли. Озираясь, я стоял
Средь каменных стволов в каком-то древнем
Святилище, чей свод был вознесен
Так высоко, что облака могли
Плыть по нему, как по ночному небу.
Здесь обнажался страшный пласт времен;

Все, что я видел раньше на земле: Седых соборов купола, и башни В проломах, и обрушенные стены (Погибших царств обломки), и еще Изрезанные ветром и волнами Утесы. — это все теперь казалось Негодной рухлядью в сравненье с той Величественной, вечною твердыней. Я различал на мраморном полу Сосуды странные, и одеянья, Как будто сотканные из асбеста Окрашенного, — или в этом храме Бессильно было тленье: так сияло Чистейшей белизною полотно. Такой дышали свежестью узоры На ризах многоцветных. Вперемешку Лежали тут жаровня и щипцы Для благовоний, чаши золотые, Кадильницы, одежды, пояса И драгоценностей священных груды. С благоговейным страхом отведя Глаза, я попытался вновь объять Пространство храма; с потолка резного Спустившись, взгляд мой перешел к столбам Суровой, исполинской колоннады, Тянувшейся на север и на юг, В неведомую тьму, — и к черным створам Закрытых наглухо ворот восточных, Рассвет загородивших навсегда. Затем, на запад обратясь, вдали Увидел я громадного, как туча. Кумира, и у ног его — уснувший Алтарь, и мраморные с двух сторон Подъемы, и бессчетные ступени. Поспешности стараясь не явить

Неподобающей, я к алтарю Направился и, ближе подойдя, Служителя заметил у святыни И отблески высокие огня. Как в полдень северный знобящий ветер Сменяется затишьем, и цветы, Под теплыми дождинками оттаяв, Таким благоуханием, такой **Целебной силой наполняют воздух.** Что даже тот, кто гробу обречен, Утешится. — так жертвенное пламя Весенний источало аромат. Веля забыть все, кроме наслажденья; И из-за белых благовонных струй, Густых клубов и занавесей дыма Раздался голос: «Если ты не сможещь Ступени эти одолеть, - умри Там, где стоишь, на мраморе холодном. Пройдет немного лет, и плоть твоя, Дочь праха, в прах рассыплется; истлеют И выветрятся кости; ни следа Не сохранится здесь, на этих плитах. Знай, истекает твой последний час; Во всей Вселенной нет руки, могущей Перевернуть песочные часы Твоей погибшей жизни, если эта Смолистая кора на алтаре Дотлеет прежде, чем сумеещь ты Подняться на бессмертные ступени». Я слушал, я смотрел: два чувства сразу Жестоко были ошеломлены Угрозой этой яростной; казалась Недостижимой цель; еще горел Огонь на алтаре, когда внезапно Меня сотряс — от головы до пят —

Озноб, и словно жесткий лед сковал Те струи, что пульсируют у горла. Я закричал, и собственный мой крик Ожег мне уши болью: я напряг Все силы, чтобы вырваться из хватки Оцепенения, чтобы достичь Ступени нижней. Медленным, тяжелым, Смертельно трудным был мой шаг; душил Меня под сердце подступивший холод; И, пальцы сжав, я их не ощутил. Должно быть, за мгновенье перед смертью Коснулся я замерзшею ногой Ступени, — и почувствовал, коснувшись, Как жизнь по ней вливается. Легко Я вверх взошел, как ангелы когда-то По лестнице взлетали приставной С земли на небо. «Праведная сила! — Воскликнул я, приблизившись к огню, — Кто я такой, чтоб так спастись от смерти? Кто я такой, что снова медлит смерть Прервать мою кощунственную речь?» Тень отвечала из-под покрывала: «Узнал ты ныне, что такое смерть И воскрещенье: слабость победив. Ты отодвинул миг неотвратимый». — «Пророчица благая! — я сказал. — Рассей, прошу тебя, туман сомненья В моей душе!» И тень произнесла: «Знай: посягнуть на эту высоту Дано лишь тем, кому страданье мира Своим страданьем стало навсегда. А те, которые на свете ищут Спокойной гавани, чтоб дни свои Заспать в бездумье, — если невзначай Сюда и забредают к алтарю, --

Бесследно истлевают v подножья». --«Но разве мало на земле других? — Спросил я, ободрясь. — Людей, готовых На смерть за ближнего, принявших в сердце Всю титаническую муку мира И бескорыстно посвятивших жизнь Униженным собратьям? я бы многих Увидел здесь, — но я стою один». — «Те, о которых ты сказал, живут Не призраками, - возразил мне голос, -Не слабые мечтатели они: Им нет чудес вне милого лица, Нет музыки без радостного смеха. Прийти сюда они не помышляют; А ты слабей — и потому пришел. Какая польза миру от тебя И всех тебе подобных? Ты - лунатик, Живущий в лихорадочном бреду; Взгляни на землю: где твоя отрада? Есть у любого существа свой дом, И даже у того, кто одинок, И радости бывают, и печали — Возвышенным ли занят он трудом Иль низменной заботой, но отдельно Печаль, отдельно радость. Лишь мечтатель Сам отравляет собственные дни, Свои грехи с лихвою искупая. Вот почему, чтоб жребии сравнять, Тебе подобных допускают часто В сады, где ты недавно побывал, И в эти храмы; оттого живой Ты и стоишь пред этим изваяньем». — «Так я за бесполезность предпочтен И речью благосклонною врачуем В болезни не постыдной! О, до слез

Великодушной тронут я наградой! — Восклики я. и продолжал: — Молю. Тень величавая, ответь: ужели Мир до того оглох, что бесполезны Ему мелодии? или поэт — Не друг, не врачеватель душ людских И не мудрец? Что я — ни то, ни это — Осознаю, как ворон сознает, Что он — не сокол. Кто же я тогда? Ты говорила о подобных мне --О ком?» И тень под белым покрывалом С такою силою отозвалась. Что всколыхнулись складки полотна Над золотой кадильницей, свисавшей С ее руки. «О племени сновидцев! Сновидец и поэт — два существа . Различных, это — антиподы в мире. Один лишь растравляет боль, другой — Льет примирительный бальзам на раны». И я вскричал с пророческой тоскою: «О где ты, дальновержец Аполлон? Вели скорей невидимой чуме, Вползающей сквозь щели, покарать Поддельных лириков, бахвалов праздных, Самовлюбленных, жалких стихоплетов: Пусть тоже смерть вдохну, — зато увижу, Как все они растянутся в гробах!.. О тень высокая, прошу, поведай: Где я? Чей это царственный алтарь? Кому здесь воскуряют благовонья? Какого мощного кумира лик Крутым уступом мраморных колен Скрыт от меня? И кто такая ты, Чей мягкий голос до меня снисходит?» И тень, окутанная покрывалом,

Вдруг так заговорила горячо,
Что всколыхнулись складки полотна
Над золотой кадильницей, свисавшей
С ее руки, и голос выдавал
Давно, давно копившиеся слезы:
«Заброшенный, печальный этот храм —
Все, что оставила война титанов
С мятежными богами. Этот древний
Колосс, чей лик суровый искажен
Морщинами с тех пор, как он низвергнут, —
Сатурна изваянье; я — Монета,
Последняя богиня этих мест,
Где ныне лишь печаль и запустенье»...

21 сентября 1819

СТРОКИ К ФАННИ

Как мне воспоминание стереть,
Слепящий образ твой прогнать из глаз?
Час минул — только час!
Есть память рук; — любимая, ответь,
Чем вытравить ее, как истребить
И вновь свободным быть?
Ведь раньше, если бы меня увлек
Прелестный локон или лоб — я мог
Легко порвать силок;
Ведь муза все же у меня была,
Пусть неказиста с виду, но крыла
Держала наготове, чтоб лететь —
Лишь стоит повелеты!
Пестра, быть может, мыслями бедна;

Но для меня божественна она, Божественна! Какой из вольных птиц В просторе океанском без границ Приспичит философствовать, когда Под нею в муках корчится вода?

Где взять мне сил

Для облинявших крыл. Чтоб снова воспарить под облака И унестись От Купидона — ввысь, Как от порхающего мотылька? Вина глотнуть? Но это — пошлый путь, Анафемство и ересь, что тайком В канон любви сумели проскользнуть: Пускай счастливый тешится вином. А на меня идет лавина бед — И прежних утешений больше нет! Забыть ли ненавистную страну, Держащую моих друзей в плену? Тот берег злой, куда их занесла Судьба — но от лишений не спасла: Тот край уродливый, где в струях рек --Мутно-бурливых, илистых — вовек Не жили водяные божества: Где ветры холод ледяной несут С больших озер и как плетьми секут Людей; где пастбищ грубая трава Не впрок худым, измученным быкам; Где аромата не дано цветам, А птицам — нежных трелей; где густой И дикий лес кромешной темнотой Дриаду напугал бы; где сама Природа, кажется, сошла с ума.

О чары дня!
Гоните адский призрак от меня!
Светает: госпожа моя пришла —
И отступила мгла!
Позволь мне вновь душою отдохнуть,
Припав к тебе на грудь!
Твой стан замкнуть в объятия позволь —
Утишить рук томительную боль!
Проникнуться теплом твоим насквозь —
До кончиков волос!
Дай губы вновы!
Какая это боль — твоя любовь!
Довольно! О, довольно грезить мне
Тобою, как во сне!

13 (?) октября 1819

К ФАННИ

Помилосердствуй! — сжалься! — полюби! — Любви прошу — не милостыни скудной — Но милосердной, искренней любви — Открытой, безраздельной, безрассудной! О, дай мне всю себя — вобрать, вдохнуть Твое тепло — благоуханье — нежность Ресниц, ладоней, плеч — и эту грудь, В которой свет, блаженство, безмятежносты! Люби меня! — душой — всем существом — Хотя б из милосердия! — Иначе Умру; иль, сделавшись твоим рабом, В страданьях праздных сам себя растрачу, И сгинет в безнадежности пустой Мой разум, пораженный слепотой!

Середина (?) октября 1819

ОДА К ФАННИ

I

Природа-врач! Пусти мне кровь души! Лишь брось на свой треножник, и послушно Пусть хлынут из груди стихи. Мне душно... От стихотворства сердце разреши! Дай только тему, тему! Дай мне роздых. Мечта моя, ты видишься сквозь мрак. Но где призывный знак, Чтоб выбежал я на морозный воздух?

II

Любовь моя! Ты — нежная обитель Надежд, печалей, страхов и отрад. Сейчас, во мгле ночной, как небожитель, Ты светишь — отгадал я без ошибки! — Волшебной красотой своей улыбки, Чей блеск мой бедный, жадный, рабский взгляд Впивает в изумленье
И в сладостном томленье.

Ш

Мой пир! Тебя глазами ест обжора. Луны моей серебряной смущенье Кто смеет вызывать бесстыдством взора? Пусть говорит в нем страсть, Руки своей не позволяй украсть! И пульса учащенного биенье Оставь мне, сжалься! Даже невзначай Ты сердца от меня не отвращай.

IV

Хоть музыка звучит и сладострастных Видений сонм кольшет воздух жаркий, Ты бойся танца завитков опасных, Вдыхая этот хмель, Воздержанная лилия, апрель Улыбчивый, холодный, яркий. Дай господи, чтоб не осталось втуне Мое мечтанье о тепле июня!

v

Не правда, скажешь, Фанни? К белоснежной Груди ты руку мягкую прижми И, сердца звук услышав безмятежный, Признайся: верность женская мужчине — Перо, что плавает в морской пучине. Давным-давно известно меж людьми: Изменчива подруга,

Как одуванчик луга.

VI

Сознанье это — горше всяких бед Тому, кто одержим любовью, Фанни, Как я, чье сердце за тобою вслед Стремится, здравый смысл отринув И свой постылый дом покинув. С нас требует любовь жестокой дани. Мой ангел! Снизойдя к такой плачевности, Спаси, убереги меня от ревности!

VII

О, если ценишь пыл души смиренной, — Не блеск минутный оболочки внешней, — Пускай любви моей престол священный Никто не осквернит, и хлеб святой Да не преломит грубою рукой,

И не сомнет цветок мой вешний. А если нет — я навсегда закрою Глаза, предавшись вечному покою.

Февраль 1820 >



Рука живая, теплая, что пылко Способна сжать, — застынь она в безмолвье Могилы ледяной, — тебе бы днем Являлась, ночью мучила б ознобом, И сердца кровь ты б отдала, чтоб жилы Мои наполнить алой жизнью вновь И совесть успокоить, — вот, гляди, — Я протянул ее тебе...

(Ноябрь — декабрь 1819)

КОММЕНТАРИИ

За исключением нескольких малозначительных стихотворений и отрывков, настоящее издание представляет все печатавшиеся в русском переводе стихотворные произведения Китса. На сегодняшний день непереведенными остаются лишь некоторые крупные вещи: отсутствуют полные переводы поэм «Эндимион» и «Падение Гипериона. Видение», незаконченной сатирической поэмы «Шутовской колпак» и опытов в жанре стихотворной драмы.

В количественном отношении знакомство русского читателя с Китсом было значительно расширено в академическом по типу издании, подготовленном для серии «Литературные памятники» Н. Я. Дьяконовой, Э. Л. Линецкой, С. Л. Сухаревым (Л., 1986 — при ссылках: ЛП с указ. страницы). Это издание воспроизводит структуру двух прижизненных сборников Китса: «Стихотворения» (1817) и «Ламия», «Изабелла», «Канун Св. Агнессы» и другие стихотворения» (1820). В разделах «Дополнения» и «Письма» дается все, не вошедшее в сборники.

В этом издании впервые на русском языке появились многие ранние произведения Китса, стихи на случай, стихотворные вставки из писем... Однако новые переводы классических произведений в большинстве случаев не стали шагом вперед, по сравнению с уже опубликованными. Вот почему в настоящем сборнике, не дающем новых переводов, но имеющем целью представить лучшие среди существующих, мы не раз возвращаемся к тому, что публиковалось в следующих основных изданиях русского Китса:

Поэзия английского романтизма. Вступ. ст. Д. Урнова. Примеч. Е. Витковского (Библиотека всемирной литературы). М., 1975.

Китс Дж. Лирика. Предисл. В. Потаповой. Сост. О. Холмской и В. Левика. Примеч. В. Захарова (Сокровища лирической поэзии). М., 1979;

Шелли П. Б.; Китс Дж. Избранная лирика. Сост. В. Левика и Г. Кружкова. Предисл. и примеч. Г. Кружкова (Поэтическая библиотечка школьника). М., 1981.

Некоторые переводы были заново отредактированы и исправлены.

Текст комментариев состоит из двух частей: первая — примечания к отдельным произведениям; вторая — словарь мифологических и литературных имен, включающий те факты, которые особенно важны для понимания текста или которые упоминаются Китсом в менее известной мифологической версии. Для примечаний отобраны сведения преимущественно биографического характера или уточняющие литературные отношения Китса с современниками, его восприятие классического наследия.

ПРИМЕЧАНИЯ

последние сонеты и оды (1819)

В этом разделе представлены вершинные создания Китса-лирика, относящиеся преимущественно ко времени замечательного творческого подъема — весенним месяцам 1819 г. Лишь еще несколько лирических стихотворений будут написаны Китсом в оставшиеся ему полтора года жизни. О произведениях этого периода см. подробнее во вступ. ст.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ 1814—1820

Подражание Спенсеру (с. 43). — Эдмунд Спенсер (1552—1599), английский поэт, к которому Китс неоднократно обращался в стихах, чьи образы развивал в набросках ранних поэм: «Вступление в поэму», «Калидор», в послании «Чарлзу Каудену Кларку» и др.

«Наполни чашу до краев...» (с. 45). — Написано по поводу встречи в Воксхолле (излюбленное место гуляний в Лондоне) с незнакомой дамой, завладевшей воображением поэта; к ней будут также обращены «Когда страшусь, что смерть прервет мой труд...» и «К даме, которую автор видел однажды в Воксхолле».

«Как голубь из редеющего мрака...» (с. 47). — Существует свидетельство, что сонет написан на смерть бабушки — миссис Дженнингс, — после ранней кончины родителей Китса взявшей на себя воспитание сирот. Она умерла в декабре 1814 г.

Чаттертон у (с. 48). — Томас Чаттертон (1752—1770) — английский поэт, доведенный до отчаянья бедностью и отравившийся; многих романтиков привлекала и его трагическая судьба, и его увлечение атмосферой средневековья, в духе которого он создал знаменитую мистификацию: цикл поэм и баллад, якобы принадлежащих перу средневекового монаха. Китс посвятил Чаттертону поэму «Эндимион».

На освобождение Ли Ханта из тюрьмы (с. 49). — Джеймс Генри Ли Хант (1784—1859), — о нем см. вступ. ст., с. 7—8. За нападки в издаваемом им либеральном журнале «Исследователь» на принца-регента Ли Хант вместе с братом был осужден в 1813 г. на двухлетнее тюремное заключение.

Строки, написанные 29 мая... (с. 51). — Реставрация на английском троне в 1660 г. Карла II Стюарта означала поражение революции. Обещание короля не посягать на установленные в стране права подданных не было исполнено; Вейн, Рассел, Сидни — имена лидеров оппозиции, основателей партии вигов, казненных королем и приобретших ореол мучеников свободы. Непосредственным поводом для этого исторического воспоминания стало пре-

бывание в Англии французского монарха Людовика XVIII, бежавшего от Наполеона во время Ста дней.

К неким молодым леди (с. 52). — Каки следующее за ним, стихотворение обращено к кузинам Дж. Ф. Мэтью (о нем см. примеч. к с. 58). Мэри Тай (1772—1810) — популярная ирландская поэтесса; интерес к ней связан с увлечением Китса легкой музыкальностью «Ирландских мелодий» — поэтического сборника Т. Мура.

На получение диковинной морской раковины и рукописи стихов... (с. 53).—*Эрик*—рыцарское имя, бывшее дружеским прозвищем Дж. Ф. Мэтью.

К одиночеству (с. 57). — Написано вскоре после того, как Джон Китс расстается с братьями и покидает Эдмонтон, чтобы продолжить занятие медициной в Лондоне. Первое опубликованное стихотворение поэта, — 5 мая 1816 г. в журнале «Исследователь».

Джорджу Фелтону Мэтью (с. 58). — Дж. Ф. Мэтью (1795—?) был в числе первых увлеченных литературой знакомых, которые появились у Китса в Лондоне; он также писал стихи, и, полагают, в момент дружбы с ним в стихах Китса усиливается чувствительность, а также — вольнолюбивая тема; ее отголоском звучат упоминания имен швейцарского национального героя Вильгельма Телля (XIV в.), шотландского — Уильяма Уоллеса XIII—XIV вв.) и древнеанглийского короля Альфреда (IX в.), сохранившего единство страны в борьбе с датчанами.

«Мне бы женщин, мне бы кружку...» (с. 64). — Написано на конспекте лекций одного из приятелей по медицинским занятиям в Гай Хоспител в Лондоне.

Вступление в поэму (с. 65). — Набросок, возникший под впечатлением поэмы Ли Ханта «История Римини», но еще до личной встречи с ее автором. Либертас (от liberty — свобода) — так Китс называет Ли Ханта, ко-

торому год спустя посвятит свой первый стихотворный сборник.

Чарлзу Каудену Кларку (с. 80). — Ч. К. Кларк (1787—1877) — сын школьного учителя Китса в Энфилде; одним из первых заметил художественную одаренность мальчика и помогал ее развить. Именно он покажет Ли Ханту несколько стихотворений Китса, в том числе сонеты «К одиночеству», «Как много славных бардов золотят...».

Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе Чапмена (с. 85). — Джордж Чапмен (1559—1634) — поэт и драматург шекспировской эпохи, чей перевод Гомера поразил Китса в сравнении с более известным в ту пору переводом А. Поупа, выполненным в духе классицистической правильной поэзии (об отношении к Поупу см. примеч. к с. 98). Эрнан Кортес (1485—1547) — испанский конкистадор в Америке, которому Китс ошибочно приписывает открытие Тихого океана.

Моим братьям (с. 88). — Обращено к Джорджу и Томасу Китсам в день семнадцатилетия последнего из них.

К Хейдону (с. 89). — Бенджамен Роберт Хейдон (1786—1846) — художник, противник академической школы в живописи; дружил со многими поэтами и именно он познакомил Китса с Ли Хантом, к влиянию которого впоследствии ревновал. Китс иронически следил за их соперничеством: «...Хейдон и Хант знают друг друга много лет, а теперь живут... точно завистливые соседи» (8.Х.1817.—ЛП, с. 205).

К нему же (с. 89). — *Хелвеллин* — горная вершина в Озерном крае, где в конце 90-х годов XVIII в. поселились Вордсворт, Кольридж и Саути, положившие начало поэзии английского романтизма и известные под именем «озерной школы».

Сон и поэзия (с. 98). — Поэтический манифест Китса, в котором он решительно берет сторону современного искусства и Шекспира (не называя его прямо по имени, но поэтически указывая на место его рождения — Стрэтфорд-на-Эйвоне); строки 181—206 вызвали возмущение Байрона, который увидел в них намек не на теоретика французского классицизма Буало и не на поэзию предшествующего века вообще, а на Александра Поупа (1688—1744). Вразрез с романтическим вкусом Байрон находил в поэзии Поупа идеал точной мысли и общественного темперамента; с этого момента началось резкое неприятие Байроном Китса.

К Дж. А. У. (с. 112). — Джорджине Августе Уайли, в мае 1818 г. ставшей женой брата Джорджа и в следующем месяце вместе с ним эмигрировавшей в Америку.

Кузнечик и сверчок (с. 113). — Написан сонет во время одного из импровизированных поэтических состязаний в доме Ли Ханта; по аналогичному поводу возникли и другие стихотворения Китса: «На получение лаврового венка от Ли Ханта», «При виде локона Мильтона», «К Нилу».

При осмотре обломков Парфенона, привезенных Элгином (с. 119). — Томас Брюс Элгин (1766—1841) — английский дипломат, вывезший из Греции многие остатки античных статуй, что было, в сущности, действием беззаконным (Греция и по сей день добивается их возвращения). Байрон на то же событие откликнулся сатирой «Проклятие Минервы» (1811). Для Китса осмотр этого собрания, закупленного для Британского музея при содействии Б. Р. Хейдона, стал важной встречей с подлинной греческой классикой.

[Изписьма Дж. Г. Рейнолдсу] (с. 124).— Джон Гамильтон Рейнолдс (1794—1852) — поэт и критик; с 1816 г. он и его четыре сестры стали друзьями Китса. Многочисленные письма Китса к Рейнолдсу свидетельствуют о единомыслии и сходстве вкусов; в этих письмах нередко посылаются только что написанные Китсом стихи.

Робин Гуд (с. 136). — В письме Дж. Г. Рейнолд-

су с заглавием: «Дж. Г. Р. в ответ на его сонеты о Робин Гуде».

Строки о трактире «Дева Моря» (с. 138).— Как и предыдущее, в письме к Дж. Г. Рейнолдсу. «Дева Моря» — трактир, в котором собирались драматурги и актеры в шекспировском Лондоне. Написано Китсом после посещения «Девы Моря».

О чем говорил дрозд (с. 142). — Текст записан в письме к Дж. Г. Рейнолдсу и предварен такими словами: «Я не читал книг — утро сказало мне, что я прав; я думал только о красоте утра — и дрозд выразил мне одобрение, словно сказал вот что: ...» (ЛП, с. 219).

Джону Гамильтону Рейнолдсу (с. 149). — Стихотворное письмо. Уильям Хээлитт (1778—1830), — о нем см. вступ. ст., с. 8. Мэри Эджворт (1767—1849) — писательница, чьи романы об Ирландии стали одним из поводов для В. Скотта обратиться к исторической прозе на материале его родины — Шотландии; Хээлитт испытывал к ней личную неприязнь. Юний Брут Бут (1796—1852) — актер, исполнитель ролей в шекспировских трагедиях.

К Дж. Р. (с. 154). — Обращено к Джеймсу Райсу (1792—1832), близкому другу Китса, с которым его познакомил Дж. Г. Рейнолдс; в 1819 г. Китс писал о нем: «Он самый рассудительный и даже мудрый из всех, кого я знаю».

Изабелла, или Горшок с базиликом (с. 155). — Сюжет поэмы взят из «Декамерона» Дж. Боккаччо (IV, 5). Под влиянием лекций У. Хэзлитта о европейских поэтах, прослушанных в январе — феврале месяце в Лондоне, Китс предполагал выпустить совместный с Дж. Г. Рейнолдсом сборник таких переложений; замысел этот осуществлен не был.

О д а М а й е (с. 179). — *Байя* — античный город близ Неаполя, остатки роскошных дворцов и купален которого частично затоплены морем. Ты флейте улыбнешься сицилийской... — В подражание песням сицилийских пастухов родилась пасторальная поэзия, прославленным творцом которой был Феокрит (III в. до н. э.). Отчизна эолийская — историческая область в Древней Греции, в которую входил о. Лесбос — родина великих поэтов VII—VI вв. до н. э.: Ариона, Алкея, Сафо.

На посещение могилы Бернса (с. 180). — Летом 1818 г. во время путешествия с Ч. Брауном (см. примеч. к с. 257) по Озерному краю, Шотландии и Ирландии Китс посетил места, связанные с Робертом Бернсом (1759—1796).

«Ах, если бы ты только знал...» (с. 187). — Стихи составляют часть письма брату Томасу из Шотландии и сопровождаются пояснением: «Тут описан свадебный поезд, который встретился нам, как только мы попали сюда...» (ЛП, с. 234). Вскоре известие о тяжелой болезни брата заставит Китса прервать путешествие и вернуться в Хэмпстед (близ Лондона). Томас умрет от туберкулеза 1 декабря 1818 г.

Стихи, написанные в Шотландии, в домике Роберта Бернса (с. 189). — В письме к Дж. Г. Рейнолдсу (11—13. VII.1818) Китс сообщал: «Я написал сонет только ради того, чтобы написать хоть чтонибудь под этой крышей; стихи вышли дрянные, я даже не решаюсь их переписывать» (ЛП, с. 232).

На посещение Стаффы (с. 191). — Один из числа Гебридских островов (к северо-западу от побережья Шотландии), на которых показывали пещеры легендарного кельтского героя Фингала, воспетого Оссианом — вымышленным древним бардом, от чьего имени был создан цикл поэм Дж. Макферсоном (1736—1796); хотя мистификация была разоблачена, Оссиановы поэмы пользовались славой у романтиков. В письме к брату Китс так описывает свои впечатления: «Поразительна пещера Фингала, пред-

ставляющая собой углубление в толще базальта. Вообрази, что титаны, восставшие против Юпитера, взяли всю эту массу черных колонн и перевязали их вместе, как пучки спичек, а затем громадными топорами вырубили пещеру в толще этих колонн. Понятно, что крыша и пол, образованные обрубками этих колонн, должны быть неровными» (ЛП, с. 238). Колдун над Ди-рекою — Мерлин.

На вершине Бен Невис (с. 193). — *Бен Невис* (1343 м) — вершина Британских островов (в Шотландии, в Грампианских горах).

Современная любовь (с. 199). — Антоний и Клеопатра. — История любви римского полководца и египетской царицы (I в. до н. э.) стала символом безграничного чувства, которому все приносится в жертву. Согласно легенде, на пиру Клеопатра растворила в бокале вина драгоценную жемчужину. Брунсвик-сквер — площадь, в районе которой в Лондоне селились деловые люди.

Гиперион (с. 200). — Над этой поэмой Китс работал в тяжелые месяцы предсмертной болезни брата Тома. О ней и о ее втором, также не законченном варианте — «Падение Гипериона», см. во вступ. ст., с. 12—13.

Ода («Барды Радости и Страсти!..») (с. 232). — Фрэнсис Бомонт (1584—1616) и Джон Флетчер (1579—1625) — драматурги, современники Шекспира, в основном писавшие в соавторстве; создатели жанра трагикомедии в Англии, изобилующего неожиданными перипетиями событий, чередованием комических и драматических эпизодов.

Канун Святой Агнессы (с. 234). — Св. Агнесса — раннехристианская мученица во времена гонений при императоре Диоклетиане (303 г.). Почиталась как покровительница девственниц, чье имя ассоциировалось с ягненком (агнцем), символом непорочности. Ее день — 21 января; по распространенному поверью, накануне этого дня можно во сне увидеть того, с кем предстоит вступить в брак. Канун Святого Марка (с. 252). — Накануне дня Святого Марка (25 апреля), согласно поверью, бытовавшему в Йоркшире, в течение ночи можно увидеть входящими в храм призраки людей, которым предстоит тяжко заболеть или умереть в текущем году. Символ этого святого (покровителя Венеции) — крылатый лев. ...Мышей, представьте, золотых... — В Библии (Первая Книга Царств, 6, 4) филистимлян, то есть неверных, присвоивших ларец для хранения священных реликвий (ковчег завета) бог покарал: «...внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние». Избавиться от бедствия удалось, возвратив ковчег народу Израиля и вложив в него свои дары, среди которых — пять золотых мышей.

«Обитель Скорби» (автор мистер Скотт)...» (с. 257). — Сонет пародирует названный в его последних строках сонет У. Вордсворта, см. вступ. ст., с. 10.

[Характер Чарлза Брауна] (с. 257). — Ч. Браун (1787—1842) — друг Китса последних лет его жизни; в его доме в Хэмпстеде Китс жил в 1819—1820 гг. после смерти брата Тома. Ч. Браун, потерпев коммерческую неудачу (он представлял обанкротившуюся торговую фирму в Петербурге), пишет для театра. Совместно с Китсом создана трагедия «Оттон Великий», в январе 1820 г. отвергнутая театром Ковент Гарден.

La Belle Damesans Merci. Баллада (с. 259). — Источники сюжета баллады многочисленны и уводят в рыцарскую средневековую поэзию, а также к Спенсеру, в чьей поэме «Королева фей» есть образ волшебницы-искусительницы. У Китса это стихотворение предвосхищает сюжет поэмы «Ламия»; поводом для обоих было чувство к Фанни Брон (см. примеч. к с. 292), сильное и исполненное безысходности. Баллада неоднократно переводилась на русский язык; предлагаемый перевод Л. Андрусона впервые опубликован в 1911 г.

Ламия (с. 263). — Основным источником для Китса послужил трактат английского философа-моралиста Роберта Бертона (1577—1640) «Анатомия Меланхолии» (1621), отрывок из которого был приведен вслед за поэмой в сборнике 1820 г.: «Филострат, в четвертой книге написанного им труда «Vita Apollonii», приводит достопамятное происшествие подобного рода, каковое не должно мне обойти молчанием. Некто Менипп Ликий, юноша двадцати пяти лет, на пути из Кенхреи в Коринф встретил сходный фантом в обличии прекрасной женщины, которая, взяв его за руку, привела в свой дом на окраине Коринфа, открылась ему, что по рождению она финикиянка и что, если он останется с ней, он услышит, как она поет и играет, будет пить вино, которое никто никогда не пил, и ни единый человек его не потревожит; но она, будучи мила и прекрасна, будет жить и умрет вместе с ним, милым и прекрасным на вид. Юноша-философ, прежде рассудительный и благоразумный, обладая способностью умерять свои страсти, помимо одной — любовной, пребывал некоторое время с нею к величайшему своему удовольствию и, наконец, сочетался с нею браком. На свадебный пир в числе прочих гостей явился Аполлоний, который посредством ряда заключений обнаружил, что она змея, ламия, и что вся окружающая ее обстановка, подобно золоту Тантала, описанному Гомером, невещественна, будучи простой иллюзией. Увидев, что тайна ее раскрыта, она со слезами молила Аполлония хранить молчание, но он остался непоколебим, вследствие чего она сама, утварь и дом, вместе со всем, что в нем было, исчезли в мгновение ока. Многие были свидетелями этого случая, ибо он произошел в самом центре Греции» (ЛП, с. 324). Упоминаемый Филострат — Флавий Филострат, позднеримский писатель (II-III вв.), автор биографического повествования «Жизнь Аполлония Тианского» (русское изд. М., 1985 в серии «Литературные памятники).

См. также вступ. ст., с. 13—14. В те дни, когда крылатых

фей отряды... — Распространенный в английской поэзии миф о том, что боги-олимпийцы были вытеснены младшими божествами: эльфами, феями, духами...

Из поэмы «Падение Гипериона. Видение» (с. 286). — О поэме см. во вступ. ст., с. 12—13. Поэма не была завершена; в русском переводе дается лишь фрагмент существующего текста — строки 57—227 из первой песни.

Строки к Фанни (с. 292). — Это и следующие стихотворения обращены к соседке Китса по дому в Хэмпстеде (принадлежащем Ч. Брауну) Фанни Брон (1800—1865). Они познакомились осенью 1818 г.; 22 декабря 1819 г. состоялась их помолвка. В следующем году, когда здоровье Китса резко ухудшилось, он предложил расторгнуть помолвку, на что Фанни не дала согласия; однако чувство ревности, еще более мучительное от сознания собственной беспомощности, не оставляло поэта. На время любви к Фанни Брон приходится и необычайный лирический подъем 1819 года, когда были созданы последние оды и сонеты.

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИМЕН

Альбион — название Англии у римлян; сохранилось как поэтическое.

Андромеда (г р е ч.) — дочь царя Эфиопии, отданная в качестве искупительной жертвы на съедение чудовищу и спасенная героем Персеем.

Аргус (греч.) — многоглазый великан, неусыпный страж, умерщвленный Гермесом (см.).

Ариадна (греч.) — дочь критского царя Миноса; полюбила героя Тесея, но была покинута им. Один из сюжетов о ней — история ее любви с Дионисом (Вакхом).

Армида — прекрасная волшебница в поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (публ. 1580). Ее возлюбленный — доблестный рыцарь-христианин Ринальдо.

Артемида (греч.) — см. Диана.

Арчимаго — волшебник из поэмы Э. Спенсера «Королева фей» (публ. 1589—1596).

Б*ритомартис* (г р е ч.) — нимфа, сопровождавшая Артемиду; у Спенсера — символ чистоты.

Веспер (греч., римск.) — вечерняя звезда; одно из воплощений Венеры.

Геба (греч.) — богиня юности; она подавала нектар и амброзию богам на Олимпе.

Георгий (б и б л.) — святой, зд.: наряду с идеальным влюбленным Леандром — воплощение рыцарского благородства и верности.

Гермес (греч.) — римск. Меркурий; сын Майи, вест-

ник богов, исполнявший поручения Зевса, в том числе — похищение Ио, возлюбленной громовержца, обращенной им в корову, чтобы скрыть от ревнивой мести Геры. Однако Гера приставила к ней Аргуса (см.), которого Гермес усыпил, играя на свирели, и потом убил. Гермесу приписывали способность к волшебству; его изображали с магическим жезлом, увенчанным перьями и обвитым двумя змеями.

Гибла — гора в Сицилии, обильно покрытая цветами и славившаяся своим медом.

Гиперион (г р е ч.) — один из титанов; бог солнца, чье место среди богов-олимпийцев займет Аполлон.

Делийская клятва (греч.) — клятва, обращенная к Аполлону; от названия острова, на котором бог был рожден, — Делос.

Дельфийский лабиринт (греч.) — в Дельфах находилось святилище Аполлона, и выражение воспринималось как символ неисповедимого поэтического вдохновения.

Диана (р и м с к.) — греч. Артемида; богиня, получившая название божества трех дорог: на небе она — Луна (Селена, Цинтия); на земле — охотница, покровительница девственниц; под землей — богиня мрака, черной магии, Геката. В позднеримской литературе распространен миф о ее любви к юноше Эндимиону (см.).

Дидона (р и м с к.) — царица Карфагена, покинутая героем Энеем и в скорби покончившая с собой.

 $\mathbf{M}\partial a$ (греч.) — гора на о. Крит, на склоне которой тайно от своего отца Крона (см.) был воспитан Зевс.

Калидор — герой-рыцарь, побеждающий Клевету в поэме Э. Спенсера «Королева фей».

Кифара (греч.) — род лиры, инструмент Аполлона. Ком (Комус) (греч.) — бог празднеств и пиров.

Крон (г реч.) — римск. Сатурн; младший из титанов, захвативший верховную власть на небе. Отец богов-олимпийцев, отсюда — Крониды. Был побежден Зевсом.

Ламия (греч.) — возлюбленная Зевса, чьих детей Гера умертвила из ревности, превратив Ламию в змею с женской головой и грудью. Не имея сил отомстить Гере, Ламия заманивала путников и пожирала их.

Ликид (Лисидас) — под этим именем Джон Мильтон воспел смерть друга (1637).

Мемнон (греч.) — один из героев троянской войны; его именем греки называли огромную медную статую фараона Аменхотепа III, которая на восходе солнца издавала жалобный звук.

Меркурий (римск.) — см. Гермес.

Мерлин (кельтск.) — волшебник в легендах о короле Артуре. Получив в дар от своего отца-демона волшебные чары, он не сохранил тайну их происхождения, за что должен был погибнуть. Ночь его гибели выдалась особенно бурной и была отмечена явлением потусторонних сил.

Мидас (г р е ч.) — царь Фригии, побуждаемый жадностью, испросил у Диониса дар превращать в золото все, к чему он прикасался; в результате этого дара едва не умер голодной смертью.

Минос (греч.) — создатель справедливых законов, после смерти — один из трех судей в царстве мертвых; символ мудрой неподкупности.

Мнемозина (греч.) — сестра богов-титанов, покинувшая их и перешедшая на сторону Аполлона; воплощение памяти, мать девяти муз.

Мом (греч.) — бог смеха, позволявший себе издеваться даже над Зевсом и другими олимпийцами.

Монета (г р е ч.) — по некоторым мифологическим источникам, — дочь Мнемозины, сюжетную роль которой она принимает на себя во втором варианте поэмы о Гиперионе.

Орфей (греч.) — пастух во Фригии, получивший ли-

ру от Зевса, возлюбленный Эвридики. Его игра очаровывала, делая послушными диких зверей, деревья, скалы.

Оры (греч.) — богини, ведавшие сменой времен года, порядком в природе.

Паоло и Франческа — юные влюбленные, убитые ревнивым мужем Франчески да Римини. Данте помещает их во втором круге Ада, среди тех, кто, наказанные за прелюбодеяние, вечно гонимы ледяным вихрем.

Персефона (греч.) — римск. Прозерпина; дочь богини плодородия Цереры, похищенная Плутоном и ставшая царицей подземного царства.

Пирра (греч.) — Пирра и ее муж Девкалион были единственными людьми, уцелевшими от потопа, в котором Зевс погубил людей.

Плеяды (греч.) — семь дочерей титана Атланта, обращенные после смерти в созвездие.

Полифем (греч.) — одноглазый великан, самый могучий и ужасный из циклопов; ослепленный Одиссеем, в ярости сокрушал скалы, сбрасывая их в море.

Провансальские музы — названы так по исторической области на юге Франции — Провансу, ставшему в XI— XII вв. родиной рыцарской поэзии, одухотворенной любовью к прекрасной даме.

Прозерпина (римск.) — см. Персефона.

Психея (греч., римск.) — нимфа, которую полюбил Амур. Он уединился с нею в пещере, покинув мир, что вызвало гнев его матери — Венеры; богиня погубила нимфу, но Юпитер, по просьбе Амура, даровал ей бессмертие. Психея стала воплощением человеческой души; ее образ — бабочка.

Римини — см. Паоло и Франческа.

Руфь (библ.) — моавитянка, которую увидел работающей в поле и полюбил богач Вооз; ее потомком был царь Давид.

Сатурн (римск.) — см. Крон.

Селена (римск.) — см. Диана.

Сиринга (г р е ч.) — нимфа в Аркадии. Убегавшая от преследования Пана на берегу реки Лодоны, она была обращена в тростник, из которого сделана свирель Пана.

Темпе (Темпейская долина) (греч.) — прекрасная, многократно воспетая долина в Греции между горами Олимп и Осса.

Титания — богиня лесных эльфов в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», поссорившаяся со своим супругом Обероном.

Урганда — волшебница в рыцарских романах об Амадисе Галльском.

Цинтия (римск.) — см. Диана.

Цирцея (греч.) — обольстительная волшебница, отличавшаяся жестокостью к завлеченным ею жертвам.

Элизий (Елисейские поля) (греч.) — место обитания праведных душ.

Эндимион (греч., римск.) — прекрасный юноша, живший на склоне горы Латмос. Его полюбила Диана, но целомудрие Эндимиона было столь велико, что только по ночам богиня могла видеть его красоту; Юпитер даровал ему вечную юность. Постепенно его образ стал восприниматься как образ философа или астронома, созерцающего ночное небо.

Эхо (греч.) — нимфа, влюбленная в Нарцисса; погибла, убитая его равнодушием.

И. Шайтанов

СОДЕРЖАНИЕ

Джон Китс (1795—1812). И. Шаитанов	3
Из поэмы «Эндимион». Перевод Б. Пастернака	17
последние сонеты и оды (1819)	
«Чему смеялся я сейчас во сне?» Перевод С. Маршака.	21
Сон. После прочтения отрывка из Данте о Паоло и	
Франческе. Перевод С. Сухарева	22
К Сну. Перевод О. Чухонцева	22
Сонет о сонете. Перевод С. Маршака	23
Слава. I («Дикарка-слава избегает тех»). Перевод	
С. Маршака	24
Слава. II («Как жалок ты, живущий в укоризне»).	
Перевод О. Чухонцева	24
Ода Психее. Перевод Г. Кружкова	25
Ода греческой вазе. Перевод Г. Кружкова	28
Ода Соловью. Перевод Г. Кружкова	30
Ода Меланхолии. Перевод Г. Кружкова	34
Ода Праздности. Перевод Г. Кружкова	35
Ода к Осени. Перевод Б. Пастернака	38
«День отошел и все с собой унес» Перевод В. Левика	39
«О, если б вечным быть, как ты, Звезда!» Перевод	
В. Левика	40
стихотворения и поэмы	
(1814—1820)	
Подражание Спенсеру. Перевод В. Левика	43
К Миру. Перевод В. Левика	4
«Наполни чашу до краев» Перевод С. Сухарева	45
Байрону. Перевод С. Сухарева	47
«Как голубь из редеющего мрака» Перевод С. Суха-	• •
рева	47
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Чаттертону. Перевод С. Сухарева	48
На освобождение Ли Ханта из тюрьмы. Перевод	
Г. Кружкова	49
К Надежде. Перевод С. Шик	49
Строки, написанные 29 мая, в годовщину реставрации	
Карла II. под звон колоколов. Перевод В. Васильева	51
К неким молодым леди. Перевод Л. Петричук	52
На получение диковинной морской раковины и рукопи- си стихов от вышеупомянутых леди. Перевод Е. Ду-	
наевской	53
«О женщина, когда тебя пустой» Перевод Г. Кружко-	
ва	55
	57
Джорджу Фелтону Мэтью. Перевод С. Сухарева	58
К*** («Если б ты во время оно»). Перевод С. Шик	61
К*** («Когда бы стал я юношей прекрасным»). Пере-	
вод С. Сухарева	64
«Мне бы женщин, мне бы кружку» Перевод С. Шик	64
Вступление в поэму. Перевод С. Шик	65
Калидор. Фрагмент. Перевод М. Бородицкой	67
«Тому, кто в городе был заточен» Перевод С. Марша-	٠.
ка	73
«О, как люблю я в ясный летний час» Перевод С. Су-	,,
•	73
	74
Другу, приславшему мне розы. Перевод С. Сухарева	/4
Моему брату Джорджу («Как много за день видел я	7.5
чудес!»). Перевод С. Сухарева	75
Моему брату Джорджу («В унынии провел я много дней»). Перевод С. Сухарева	
дней»). Перевод С. Сухарева	75
Чарлзу Каудену Кларку. Перевод Г. Кружкова	80
«Как много славных бардов золотят» Перевод Г. Круж-	
кова	85
Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе	
Чапмена. Перевод Игн. Ивановского	85
Юной леди, приславшей мне лавровый венок. Перевод	
В. Левика	86
Покидая друзей в ранний час. Перевод Нат. Булга-	
ковой	86
«Студеный вихрь проносится по логу» Перевод Б. Ду-	
бина	87
Моим братьям. Перевод С. Сухарева	88
К Хейдону. Перевод С. Сухарева	89
К нему же. Перевод С. Сухарева	89

«Я вышел на пригорок — и застыл» Перевод М. Боро-	
дицкой	90
дицкой	98
Написано из отвращения к вульгарному суеверию. Пере-	
	110
К Костюшко. Перевод В. Левика	111
	112
«Благословенна Англия! Вовек» Перевод Г. Круж-	
кова	112
Кузнечик и сверчок. Перевод С. Маршака	113
«Мрачили долго темные туманы» Перевод О. Чухон-	
	113
	114
Сонет, записанный на чистой странице поэмы Чосера	
«Цветок и лист». Перевод Г. Кружкова	115
На получение лаврового венка от Ли Ханта. Перевод	
Е. Дунаевской	116
Дамам, которые видели меня увенчанным. Перевод	
Е. Дунаевской	117
Ода Аполлону. Перевод Д. Шнеерсона	117
При осмотре обломков Парфенона, привезенных Элги-	
ном. Перевод М. Новиковой	119
Бенджамину Роберту Хейдону. Перевод С. Сухарева	120
На поэму Ли Ханта «Повесть о Римини». Перевод В. По-	
	120
Море. Перевод Б. Пастернака	121
Строки («Неслышимый, незримый»). Перевод Е. Ду-	
наевской	122
«Жду тебя, любовь» Перевод А. Жовтиса	122
[Из письма Дж. Г. Рейнолдсу]. Перевод Д. Шнеер-	
сона	124
K*** («Не печалься, не беда»). Перевод А. Смолян-	
ского	124
Из поэмы «Эндимион»	
	125
[Песня индийской девушки]. Перевод С. Сухарева 1	
В зимнюю ночь. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	
Аполлон к Грациям. Перевод С. Сухарева	
	132
При виде локона волос Мильтона. Перевод В. Ле-	
	133
Перед тем как перечитать «Короля Лира». Перевод	
Г. Кружкова	134

«Когда страшусь, что смерть прервет мой труд» Пере-	
вод В. Левика	135
«О, не красней так, о, не красней!» Перевод С. Суха-	
рева	135
Робин Гуд. Другу. Перево∂ В. Рогова	136
Строки о трактире «Дева Моря». Перевод А. Жовтиса	138
К даме, которую автор видел однажды в Воксхолле.	
Перевод В. Рогова	139
К Нилу. Перевод В. Рогова	140
К Спенсеру. Перевод В. Левика	141
Ответ на сонет, заканчивающийся строками Дж. Г. Рей-	
нолдса. Перевод С. Сухарева	141
О чем говорил дрозд. Перевод В. Орла	142
Наброски для оперы. Перевод С. Сухарева	143
«Четыре разных времени в году» Перевод С. Марша-	
ка	146
Строки из письма. Перевод Игн. Ивановского	147
Девчонка из Девона. Перевод О. Чухонцева	149
Джону Гамильтону Рейнолдсу. Перевод Г. Кружкова	
«Через холмы, через ручей» Перевод Г. Кружкова	153
К Дж. Р. Перевод С. Сухарева	154
Изабелла, или Горшок с базиликом. Перевод Е. Вит-	154
ковского	155
Гомеру. Перевод В. Потаповой	
Ода Майе. Фрагмент. Перевод С. Сухарева	170
Ода маие. Фрагмент. Перевоо С. Сухарева	170
«Ласков привет милых глаз» Перевоо С. Сухиреви	180
На посещение могилы Бернса. Перевод Ю. Голубца	100
Мэг Меррилиз. Перевод А. Жовтиса	182
Песенка о себе. Перевод Г. Кружкова	102
[Из письма Томасу Китсу]. Перевод Игн. Ивановского	188
Скале Эйлса. Перевод Нат. Булгаковой	100
Стихи, написанные в Шотландии, в домике Роберта	100
Бернса. Перевод С. Маршака	189
Строки, написанные в Северной Шотландии после по-	100
сещения деревни Бернса. Перевод Арк. Штейнберга	
На посещение Стаффы. Перевод Е. Баевской	191
На вершине Бен Невис. Перевод Л. Уманской	193
[Из письма Джорджу и Джорджине Китсам]. Перевод	
С. Таска	194
«Здравствуй, радость, здравствуй, грусть» Перевод	
О. Чухонцева	196
Песня («Дух всесильный — ты царишы!»). Перевод	
В. Багно	197

«Где же он и с кем — поэт?» Перевод А. Жовтиса	198
Современная любовь. Перевод В. Левика	199
Гиперион. Фрагмент. Перевод Г. Кружкова	200
Мечта. Перевод Г. Кружкова	
Ода («Барды Радости и Страсти!»). Перевод Г. Круж-	
кова	232
Песня («Тише, милая, тише!»). Перевод Г. Кружкова	233
Канун Святой Агнессы. Перевод Е. Витковского	
Канун Святого Марка. Перевод А. Кушнера	
Песенка эльфа («Вытри слезы! Час придет»). Пере-	
вод А. Жовтиса	256
«Обитель Скорби» (автор — мистер Скотт)» Перевод	
Д. Шнеерсона	257
[Характер Чарлза Брауна]. Перевод С. Сухарева	257.
La Belle Dame sans Merci. Баллада. Перевод Л. Андру-	
сона	259
«Два букета приличных» Перевод С. Сухарева	
Ламия. Перевод С. Сухарева	263
«Сидят, вращая томными очами» Перевод Г. Круж-	
	285
Из поэмы «Падение Гипериона. Видение». Перевод	
	286
Строки к Фанни. Перевод Г. Кружкова	292
К Фанни. Перевод Г. Кружкова	294
Ода к Фанни. Перевод В. Потаповой	295
«Рука живая, теплая, что пылко» Перевод В. Потапо-	
вой	297
Комментарии И. Шайтанова	298
Словарь мифологических и литературных имен И. Шай-	
танова	310

,



Китс Д.

К45 Стихотворения и поэмы: Пер. с англ. / Сост., вступ. статья, коммент. И. Шайтанова. Худож. И. Шипулин. — М.: Худож. лит., 1989. — 319 с. (Классики и современники. Поэтическая б-ка).

ISBN 5-280-00654-8

Джон Китс (1795—1821) — великий английский поэт эпохи романтизма, один из самых тонких и проникновенных лириков. Прославление жизин во всей ее чувственной красоте, противопоставление идеалов гармонии, чистоты, прекрасного миру буржуваного практицизма и ханжества — основные темы его поэзии.

- В сбориик вошли все наиболее значительные стихотворения Китса.

K 4703010200-324 028(01)-89 128-89

ББК 84.4Вл

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Поэтическая библиотека

джон китс

Стихотворения и поэмы

Редактор В. Фадеева

Художественный редактор А. Моисеев
Технический редактор Г. Такташова

Корректор Т. Медведева

ИБ № 5342

Сдано в набор 27.02.89. Подписано в печать 19.10.89. Формат $70 \times 100^1/_{32}$. Вумага офс. № 2. Гарнитура «Тип-таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,96. Усл. кр.-отт. 26,24. Уч.-изд. л. 12,87. Тираж 400 000 экз. Изд. № 1-3173. Заказ 146. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Калинин. пр. Ленина. 5.



Поэтическая библиотека



